



Проект издательского дома „Эпоха“
Серия „Современная дагестанская проза“

П. Дибирова

Орнамент на моей ладони



Современная дагестанская проза

Полина Дибирова

Орнамент на моей ладони

«Эпоха»

2012

Дибирова П. М.

Орнамент на моей ладони / П. М. Дибирова — «Эпоха»,
2012 — (Современная дагестанская проза)

В основу романа легли воспоминания дагестанца, прошедшего войну, немецкий плен и пережившего сталинские репрессии. Это жизнь просто человека и в то же время великого человека. Удары судьбы не сломили его веру в справедливость и не ослабили его стремление к счастью. В романе сохранено настоящее имя прототипа.

© Дибирова П. М., 2012

© Эпоха, 2012

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Полина Дибирова

Орнамент на моей ладони

Моему деду, Дебирову Паруку Муртузалиевичу, посвящаю эту книгу

Художник, искусствовед, ученый и педагог Парук Муртузалиевич Дебиров умер в окружении жены, детей и внуков в своей махачкалинской квартире 2 августа 1999 года. В день, когда на Дагестан напали банды международных террористов. Не выдержало сердце. Он знал, что несет людям вой на. Слишком хорошо знал. Несмотря на все испытания жесточайшей войны, лишения и беды послевоенного времени, он до последнего дня своей жизни оставался человеком добрым, честным, уважаемым, любящим и любимым.

В память о себе Парук Муртузалиевич Дебиров оставил боевые награды, пять книг, более шестидесяти научных статей и сотни учеников по всему миру.

Глава первая Война

Наш полк, точнее, то, что от него осталось после неполного года непрерывных боёв, засел в небольшой деревеньке в лесистой местности близ Сталинграда. Вот уже месяц мы пытались продвинуться дальше на запад. Всё было тщетно. Эти немцы, казалось, были повсюду.

На протяжении трёх последних недель местность брали и сдавали уже несколько раз. Все ждали сигнала к очередному наступлению. Вот-вот должны были подтянуться наши войска с восточных фронтов. Теплилась ещё слабая надежда на подкрепление из расчёта местных ополченцев. С ними также в наш штаб должен был прибыть политрук, появления которого ждали особенно. Хотя всё было крайне неопределённо.

В последние дни немцы затаились и уже не атаковали. В воздухе рассеялся въедливый запах гари и пороха. Стрельба в лесу стихла. Стали различимы причудливые птичьи трели. Лишь изредка пролетали над нами в сторону Сталинграда фашистские самолёты-бомбардировщики.

Чёрные, как вороны, они внушали одновременно и страх, и гнев.

Все ждали. Ждал и я. Солдаты рыли окопы вдоль окраины, рубили деревья для сооружения блиндажей и кое-каких временных построек. Мы осваивались на территории, по возможности залечивали ранения, хотя многие старались их просто не замечать.

Кто-то исправно чиркал письма домой, сберегая штабную бумагу от самокруток. В самом процессе написания письма таилась некая отдушина. Любая мысль или воспоминание о доме были приятны, но надежда на то, что письмо получат, была сумрачна. Почтовые поезда бомбили, железнодорожные сообщения были нарушены, сама почта шла очень долго, и часто случалось так, что адресат уже был эвакуирован в более безопасные районы или его просто не находили среди живых. Всё могло произойти. Была жизнь, а в ней случилась война.

Я не писал. Первые полгода войны потому, что надеялся, что это всё ненадолго, что вот-вот нам объявят о долгожданной победе над фашистским захватчиком и все благополучно вернутся домой к своим родным. Тогда я не мог знать, что так не случится. Я верил, что всё может вернуться на свои места. Что всё это может быть забыто.

Война беспощадная, безжалостная, ненасытная и всеми ненавистная, в те дни она только набирала силу. Шёл уже второй год, а она всё разрасталась, пожирая новые и новые плоскости на карте войны. И никто не знал, сколько ещё она продлится и сколько человеческих жизней унесёт она на своём вороном крыле. Никто не знал, суждено ли будет ему перейти черту по ту сторону даты её окончания и остаться в живых.

Писать письма сейчас я уже не мог. Расстояние во многие тысячи километров, помноженное на время полного безвестия и неведения, составляло трудную формулу моей мучительной разлуки с домом. Я боялся получить письмо назад. Страх, что такое может случиться, не позволял мне писать ни строчки.

Мой отец умер ещё до войны. Старшая сестра вышла замуж и давно переехала жить в город, где у неё постоянно гостили младшие сёстры, которые обучались врачебному делу в медицинском институте. В глухом, высокогорном селении, по моему единственному в мире родному адресу меня ждала только старая мать. И я не знал, что могу написать ей такого, чтобы не расстроить её ещё больше.

Ожидание тяготело над нашим штабом, как столб атмосферного давления, превращая каждые сутки в мучительную бесконечность.

К концу дня, когда солнце уже клонилось на запад, роняя на землю длинные, мрачные тени, меня вместе с солдатом, одним из новичков, примкнувшим к нам на прошлой неделе, послали на разведку ближайшего лесного массива.

Я был самым младшим по возрасту в нашем взводе и на тот момент находился в чине младшего лейтенанта. Мне присвоили это звание на краткосрочной учёбе до того, как отправить на фронт. Тогда я ещё не знал, что это будет моё первое и последнее звание. Меня считали опытным разведчиком, я обладал особым чутьём и смекалкой, но эта местность с болотистыми почвами и густыми, труднопроходимыми чащами, в которых легко заплутать и сбиться, была мне незнакома.

При себе я имел маузер. У солдата была винтовка.

Следуя приказу, мы внедрились в чащу и должны были идти, передвигаясь по компасу строго на запад. После заката, под покровом ночи, мы должны были вернуться с докладом об обстановке.

– Ты откуда? – спросил я у своего попутчика.

Сам он не представился и в дальнейшем оставался так же немногословен.

– Жил недалеко отсюда. Леса я знаю, как свои пять. Не бойсь, со мной не пропадёшь, – подмигнув, заверил он меня.

Знакомиться на фронте, а тем более заводить друзей я считал делом, по меньшей мере, напрасным. Случиться могло всё, что угодно, причём в каждую минуту. Припомнив как-то всех своих знакомых со времени пребывания на поле военных действий, я уже успел с досадой заметить, что они теперь были либо мертвы, либо ранены и, как следствие, демобилизованы.

Товарищи, с которыми я шёл на фронт, затерялись в череде бесконечных боёв, переходов, вылазок, атак и отступлений. Судьба других людей, которых доводилось встречать на войне, вовсе осталась мне неизвестной.

С моим теперешним спутником мы продвигались тихо и опасно. Земля, густо устланная перегноем из опавшей листвы и хвои смешанного леса, была мягкой и проваливалась под нашими ногами, топя звуки присутствия вместе со следами сапог.

Солдат, высокий голубоглазый юноша с типичными для местного чертами лица, был вполне собран, обнаруживал уверенность и знание дела. Он внимательно прислушивался и, как было видно, держался спокойно. Я, как ни старался делать выводы об обстановке, никак не мог. Дрожание листа на лёгком ветерке или неосторожный, надрывный крик сойки – всё казалось мне вражеским знаком. И даже тишина леса настораживала. Я шёл, то и дело оборачиваясь, замирая на месте, и не снимал пальца с курка своего пистолета.

Тем не менее я был искренне рад моему новому поручению, так как считал, что от результатов нашей разведки будет в значительной степени зависеть дальнейший ход событий. Ждать на том же месте дальше было уже невыносимо. Чувство тревоги от этого только нарастало. Как известно, в обороне невозможно победить. Возможно только сохранить то, что есть, или проиграть.

Я чувствовал себя беспомощной добычей, вот так, запросто ожидая своей участи. Мне непременно нужно было делать что-то. Предпринимать какие-то попытки продвижения или ввязаться в бой и рубить фашистов. Всех подряд. Я чувствовал силу. Ведь к жестокости тоже в конце концов привыкаешь. Привыкаешь к виду крови, открытым ранам, рваным и искореженным конечностям. Привыкаешь к панораме развалившихся домов и дыму пожарищ. Привыкаешь к сухому пайку и постоянному напряжению нервов. К усталости в ногах и руках.

Меня уже не пугали внезапные атаки или возможность обстрела с воздуха. Война учит мобилизовать волю и не терять драгоценное время зря. Война учит не думать о войне, а просто выполнять приказы. Но главное – война учит надеяться. И это умение иногда может спасти тебе жизнь.

Немногочисленное население деревни, где мы теперь базировались, относилось к нам с пониманием. Женщины, наблюдающие издалека, как солдаты рубят деревья на окраине и роют окопы, грустно отворачивались. Опустив головы в чёрных платках, они проходили мимо. Старики всегда подробно расспрашивали нас о положении на фронтах. Интересовались численностью войск, спешили поделиться своим опытом и живо реагировали на свежие новости с передовой.

– Сынок, – обратился ко мне один из местных, – ну что это вы всё время отступаете и отступаете? В чём же дело?

В ту молодую свою пору я разделял юность от зрелости как тридцать от сорока пяти. Старость шла, в моём понимании, уже после пятидесяти, а на седьмом десятке существования уже должна была неминуемо достигнуть гнилая и безумная дряхлость.

Маленький, тонко костный, иссохший и скрипучий, как старая дверь, старик, как мне казалось, уже разменял свою вторую сотню. Всё в его внешнем виде было настолько логичным, что показалось мне давно знакомым и вызывало болезненную жалость.

Почему, из-за чего он должен голодать, терпеть неудобства, лишения, страх? – думал я. – В чём он виноват перед чужой страной, в которой он никогда не был? Почему кто-то один может своей волей обречь целые деревни, города, страны, народы на бедствия, горести и гибель? Почему я не могу его защитить, разве не для этого я шёл на войну? Разве не для этого я взял в руки оружие? Кого мне защищать ещё, как не этих стариков, этих измученных женщин и голодных, осиротевших детей?

Я виновато потупил взгляд и ничего не ответил. А что мне было делать? Ведь я и вправду не знал.

Мы били немцев по всем направлениям, не жалея сил, а они всё наступали и наступали, тесня и загоняя нас вглубь. За пару часов мы сдавали позиции, за которые бились несколько недель, и ничего с этим нельзя было поделать. И если бы всё зависело только от меня, я бы лично задушил каждого вражеского солдата, только чтобы он никогда больше не тревожил жизнь и мир этих простых и добрых людей.

Раньше приоритетом являлась человеческая жизнь. Здесь теперь – всё совсем иначе. Что же в таком случае главенствует здесь? Политика? Это не так. Кто ведёт на войне речь о политике? Разве что безумный займёт себя таким пустым монологом. Но везде должны быть свои ценности. Это определено устройством мира. Обязательно должно быть что-то, что зиждется на вершине пьедестала человеческих приоритетов. Что же занимает это место на войне? Может, что-то духовное? Религия? Бог, например? Но коммунистическая идеология вполне доступно разъяснила нам, что бога нет, а любая религия – это чушь. В таком случае, возможно, это нечто плотское, приземлённое и обыденное? Махорка, медицинский спирт, вкусная еда? Еда на вершине пирамиды ценностей? Но мы же люди, а не стадо шакалов!

Помню, однажды, сидя в тихую минуту перед боем, я вытряхнул перед собой на землю содержимое моего вещмешка и внимательно осмотрел его. Тёплые носки, сухой паёк, военный билет, моё последнее недописанное письмо к матери, часы, мои вечные спутники. Не совершая ни единого шага, они всюду следуют за мной. Далее. Грифельный карандаш, спички, банка консервов (на мой вкус, несъедобных), зеркало, бритвенный набор, обмылок, немного обугленной писчей бумаги. У меня не было ничего, что заставляло бы моё сердце содрогнуться при потере. Ничего.

Зачем я ношу всё это за собой? Неужели всё это делает моё существование здесь хоть сколько-нибудь терпимым или сносным? На мой взгляд, нет. Однозначно, нет. Но что же является моей личной ценностью? Идеалы моей страны? Патриотизм? Я обычный человек и наверняка сидел бы сейчас у себя дома и где угодно в другом месте, если бы не война. Так, может, в этом кроется ответ? Возможно, именно в этом он и есть для всех, кто здесь собрался? Может, все мы здесь только оттого, что очень хотим вернуться домой?

Это был август. Месяц самого жаркого лета в моей жизни. В бою миномёт часто раскалялся до того, что становилось невозможно держать его голыми руками. Надевали толстые холщовые варежки те, у кого они были, а остальные обматывали руки тряпками.

Теперь пекло так, что даже густой покров листвы не мог спасти от изнуряющего солнца. Дыхание было влажным, как из пёсевой пасти, и, выпуская его в воздух, я чувствовал, что оно здесь уже не помещается. Из-под каски текла жилка пота, которая готовилась вскипеть прямо на моём лбу.

Мы углубились в чащу не больше чем на полкилометра, когда всё вокруг нас начало вполне определённым образом трещать. Под напором ломались сухие ветки, а молодые хлётко отскакивали, возвращаясь на прежнее место. Ясно ощутил стал эффект движения застоявшегося лесного воздуха.

Уже совсем скоро каждый шорох превратился в хорошо различаемые шаги и голоса. Говорили на немецком.

Мы остановились и залегли на землю, в небольшую ложбинку под кустами. Но голоса уже раздавались отовсюду: спереди, сбоку, сзади, и никого по-прежнему не было видно.

Я изучал немецкий язык в техникуме, где проучился пять лет, но теперь, то ли от волнения, то ли из-за их акцента (ведь у этих фрицев тоже должны быть различные говоры и наречия), не мог сообразить: о чём же говорят. Разбирал только отдельные слова, которые не давали мне никакого представления о сути разговора.

Нас окружили. Немцы ходили совсем близко. Каждую секунду то где-то хрустнет ветка, почувствовав чужой сапог, то листва обнаружит движение тела. Весь лес теперь точно в немом ужасе повторял для нас на своём замысловатом шуршащем языке: «Они здесь! Они здесь!».

Стало страшно до того, что удары сердца в груди начали бить в ушные перепонки. И больше всего я боялся того, что этот паренёк, что лежит со мной плечом к плечу, сделает что-то не так. Я потерял уверенность. Я его просто не знал.

У любого в такую минуту могли запросто сдать нервы. Одно неосторожное движение, звук или любая другая нелепая случайность могла стоить нам сразу обеих жизней. Всё могло оборваться в единое мгновение.

Это удушливое, гнетущее чувство жертвы, вынужденной прятаться и ловить каждый звук, оно одно могло довести человека до отчаяния. Это чувство на грани слёз навзрыд, на грани дикого иступления и полной обречённости. Именно оно делает покорных рабов из свободных душ и заставляет дикого зверя плясать на арене для забавы праздной толпы. Это ощущение непоколебимой силы, находящейся подле и направленной против тебя. Ничто другое не делает нас настолько зверями, как чувство страха. Никогда не выйдет на охоту тот, на кого однажды охотились.

Пытаясь задушить в себе это чувство, я сжался так, что почувствовал каждую мышцу своего тела. Искоса взглянув на молодого солдата, я с ужасом обнаружил, что лицо его нервно подрагивало, а пот катился вниз столь обильно, будто он стоял под проливным дождём. Глазами, круглыми, как два дула, человеческая жизнь смотрела на меня и дрожала. Дрожала!

В эти минуты мы были так близки к смерти, что каждый чувствовал её ледяное дыхание в свой затылок, и только мысль об этом высасывала природный цвет волос, меняя его на белый. Мы оба были неподвижны, но мне казалось, что даже постороннее дыхание может быть вполне различимым среди голосов леса. В такой ситуации время имеет последнее значение, но уже вскоре шорох травы и хруст веток стали затухать.

Я решил, что немцы прошли мимо. Ещё несколько минут никто не решался шевельнуться.

Наконец, я поднял голову и осмотрелся. Всё было спокойно, как и десять минут назад. Будто ничего и не было. Дав понять моему спутнику, что нужно возвращаться, я махнул рукой в сторону деревни.

Осторожно поднявшись, на полусогнутых ногах, поминутно замирая и прислушиваясь, мы двинулись обратно.

Хуже всего, казалось мне, было то, что непонятным оставалась численность немецких солдат и в какую сторону они прошли.

Я пробирался впереди, уже размышляя на тему донесения, как вдруг воздух прорезал резкий выстрел, вздёрнувший пучок травы в полуметре от носка моего сапога. И не успел я опомниться, как выстрел прозвучал ещё раз. Позади я услышал глухой звук падения и прерванный, точно топором по горлу, перерезанный крик. Всё было делом нескольких мгновений.

Резко оглянувшись, я поймал взглядом его голубые глаза. В ту же минуту в голове скользнула мысль, что вполне возможно, это последнее, что я увижу в своей жизни.

Мой товарищ лежал на земле и исходил кровью. Я нагнулся к нему, и, не понимая уже, что я делаю, схватил его за плечи, и всё смотрел ему глаза, и не мог, никак не мог наглядеться, не мог оторваться от них.

По всем правилам я уже должен был схватить и свою пулю в голову, и в тот момент у меня не было сомнения, что будет именно так, но никто не стрелял. Мне почему-то начало казаться тогда, что, пока я смотрю в глаза этого солдата, я буду жив. Этот ужас на пороге неизвестности свернул время в ободок чёрного зрачка и замер там навсегда.

Минута тянулась вязкой смолой, а я всё смотрел в исступлении, теряя землю под ногами.

Но вот он! Прозвучал ещё один выстрел. Пуля просвистела аккуратно под моим ухом, вскользь задев щёку. Мне показалось, что кто-то невидимый порезал мне лицо опасной бритвой. На самом деле этот выстрел спас мне жизнь. Я опомнился и побежал.

Бежал я во всю прыть, не смотря под ноги и не разбирая дороги, не замечая ничего под собой. Ветки хлестали меня по телу и по лицу, задевая свежую рану, но я не чувствовал боли. Мне вслед стреляли. Я петлял. Винтовка была снайперская, но прицел явно сбит. Или это просто судьба диктовала пулям свою траекторию.

Только позже, вспоминая всё это в тысячный раз, я пойму, что нет ничего глупее, чем уворачиваться от уже летящей в твою сторону пули. Она всё равно окажется быстрее. И если уж выпущена мимо, пройдёт мимо, даже если я буду неподвижно стоять и смотреть в лицо своему страху.

Только после того, как выстрелы за спиной кончились, я почувствовал, что каждый мой следующий шаг делается тяжелее и труднее предыдущего, становится вязким и оказывается мне в конце концов не под силу. Пройдя ещё немного, я свалился на колени, будто мне подрубали ноги, и потом повалился всем телом на бок, прямо в жирную болотистую грязь.

В последний осознанный момент я успел взглянуть на свои ладони, расправив их перед лицом. Это была кровь. Из глотки вырвался рёв, который я уже не услышал, а только ощутил надрывной болью. Я терялся. Я исчезал. Я переставал чувствовать свои конечности.

Вся правда жизни, неумолимость времени, случайность рождения и смысл существования сплелись во мне в единый, неделимый комок, завязались в узел в моей голове и тянули нервы из разных сторон куда-то в глубь меня. Я забыл о месте, где я нахожусь, забыл о времени. Процесс мучительного распада, ухода в небытие поглотил меня, точно всосал в своё горло.

Всё, что только было в моей памяти, восстало из забвения и кричало, кричало мне о себе во всю силу. Всё, что я ценил в жизни, любил или помнил, все мои мысли, образы, картины воспоминаний – ничто из этого не хотело умирать. Всё вопило на разные голоса и цеплялось за меня, уходящего в пустоту. Они рвали меня на клочья. Всё, что было со мною, я переживал заново. И теперь в тысячу раз быстрее, чем в первый раз. Каждый мой день тянул меня в своё время. Каждая моя минута напоминала о себе. Они точно говорили мне: «Смотри, какой я была хорошей. Какой я была прекрасной и дорогой тебе. Спаси! Оставь меня жить!».

Я корчился от боли, но они не жалели меня. И всё кричали, кричали прямо там, у меня в голове. И сколько я ни закрывал уши в жалкой попытке глотнуть тишины, всё было тщетно.

В тот момент мне показалось, что, должно быть, смерть – это именно так. Я расплзался на множество частей, каждая из которых не могла соседствовать с другой частью, как это было раньше, и все они уже переставали быть моими.

Мне виделось, как в этом адском круговороте, посреди которого я лежу в предсмертной агонии, из чёрной мглы за гранью сознания ко мне медленно приближается отец в белой черкеске с газырями. Не смотря в глаза, хоть мой взгляд и обращён на него, он нагибается и берёт от меня часть. Уносит и исчезает. Подходит мать в чёрном платке и делает то же. И меня становится вполовину меньше. Быстрым потоком проходят все знакомые и друзья, больше похожие на тени моих знакомых и моих друзей. Все они исчезают в ту же чёрную мглу, откуда и вышли. И меня остаётся совсем мало.

Я отнимаю ладони от ушей и пытаюсь ощупать то, где раньше были мои ноги и туловище. Мои руки захватывают пустоту, но даже не воздух, а какую-то смолистую, вязкую массу. Но теряется фон ощущений. Теряется вкус крови во рту, пропадает боль, и я теряю сознание.

Смерть – это принципиальный минимум. В то время как жизнь – это всегда принципиальный максимум, как естественный антипод. Жить всегда хочется лучше, чем живёшь. Хочется больше работать и больше отдыхать, видеть больше того, чем уже видел, и дышать полнее, чем позволяют тебе твои лёгкие. Пока ты жив и кровь ещё бороздит твои вены, живи и дыши во всю грудь, как только можешь. Широко шагай, смотри высоко, совершай достойные поступки, люби всё, что тебя окружает, радуйся как только можешь. До последней своей минуты не выпускай из рук это драгоценное право задержаться на этой стороне существования. Будь бульдогом и впивайся в плоть жизни своей намертво. И держись. Ничего на свете никогда не называй своим, а жизнь, которой живёшь, не отдавай так просто. Не разменивай, не сокращай, не уничтожай её время, не выполаскивай краски с полотна её и не теряй вкуса с её стола. Потому что наступит смерть, как твой минимум, и всё изменится. Навсегда.

Смерть – это минимум твоего пространства. Всего в длину тела. Минимум звука, света и тепла. Это тишина и тьма. Холод. Тотальное молчание. Невозможность. Отсутствие желаний за неимением потребностей.

Смерть – это жизнь без движения и мысли. В конце концов, полный распад. Разложение. Без этого уж никак не обойтись. Ничего в мире не начнётся, не зарождается заново без предшествующего тому распада. Без превращения плоти в перегной, в массу микроэлементов, в вязкую жижу, в материал для новых творений. Потому как только из глины руками Творца лепится человек и только Он вдыхает в него душу.

Я лежал и ощущал приближение смерти. Хотя неизвестно, кто к кому приближается: я к ней или она ко мне.

В эти минуты я уже не вспоминал ничего из моего прошлого. Ничего из того, что было со мною, ничего из пережитого, увиденного. Моя голова была как полный сачок невесомых летних бабочек. И каждая бабочка в нём была моей несбывшейся мечтой.

Мне часто повторяла мама: «Жизнь большая, сынок, ты ещё всё успеешь». Я лежал и думал: как жаль никогда не увидеть, не пережить и не познать всего того, чего мне бы хотелось, о чём мечталось и не сбылось. Как можно было, – сокрушался в душе я, – не думать о том, что моё время могло внезапно кончиться именно сегодня. Как досадно, что я оказался к этому не готов. Я лежал и слышал, как от холодной земли отстукивает моё сердце, и не мог понять, почему оно до сих пор бьётся. Неужели, подумал я, стук сердца можно услышать и там? Там, где больше ничего не слышно? Или же это лишь прижизненная привычка слышать его.

Я словно вышел за дверь этого мира, но совершенно неожиданно для себя вошёл в другое пространство. То, что я увидел там, было и не сном, и не реальностью, и не моей фантазией, а тем, чего я не должен был увидеть. И возможно, что даже не увидел бы, если бы не увидел тогда.

Я стоял в небольшой комнате, в которой находились ещё два человека. Старик, который лежал на кровати затылком ко мне, и пожилая женщина. Она, в вязанном берете, платке, накинутом на плечи, и свитере, сидела на другой кровати, которая располагалась напротив.

Окно, занавешенное тюлем, около – письменный стол и книжный шкаф. Много книжных полок. На стенах дагестанские ковры, две фотокарточки в рамках, обе цветные. На одной из них была молодая девушка, на другой – юноша.

Я ещё, помню, подумал тогда: неужели пока я воевал, научились печатать цветные снимки? Никого из этих людей я не знал, но не мог быть в этом уверен с точностью. Присутствовал ли я сам в этой комнате, точно сказать не могу. Я видел, что за окном была глубокая ночь. Помещение же освещалось только светом одной настольной электрической лампы. Я смотрел на этих людей будто из сумрака дальнего угла у входной двери. Они меня не замечали, а я и не подумал обнаружить своё присутствие.

Пожилая женщина была в очках, под тяжестью спустившихся до середины носа. В одной руке она держала газету, а в другой – карандаш.

– Слово из пяти букв. По горизонтали. Город на сене. А! На Сене! Это же река. Так этот город я знаю. Париж. Записываю. Теперь слово из семи букв. Это уже по вертикали. Стоматолог. Это кто же? Дантист. Теперь вот здесь. Первая буква «ка». Фарфоровая глина. Как же она называлась? Забыла! Неужели забыла?! А букв сколько? Шесть. Нет. Не помню. А ты не помнишь, мы же с тобой знали?

– Ниночек, – вздохнул старик, всё это время следивший за женщиной и внимательно слушавший её монолог. – Да что же ты! Это же ка-о-лин! Неужели и вправду забыла?

– Забыла. Представляешь, забыла! А ты помнишь. – А я помню.

Я не умер. То, что может быть сомнением, не может быть смертью. Она, как и всякая догма, не оставляет двух вариантов. Я пролежал на земле до самого рассвета, а когда очнулся, меня несли на носилках в санчасть.

– Так что же вы, товарищ младший лейтенант, оставили бойца Красной Армии погибать в лесу? Бросили, значит?

– Я действовал по обстановке. Спасти товарища никак не мог. Стрелял снайпер. Солдат был убит на месте единым выстрелом.

– Ну, знаете, если бы стрелял действительно немецкий снайпер, вас бы тоже здесь не было. Ладно, хватит об этом. Надо думать, что нам дальше делать?

– Разрешите высказать мое мнение.

– Ну, говорите.

– Надо, не медля, менять место расположения штаба. Немцы наверняка нас уже обнаружили и готовятся атаковать. Мы плохо укреплены, место слишком открытое...

– Так, – перебил меня командным басом полковник, – это, товарищ младший лейтенант, не вам решать. И даже не мне. Мы стоим на заданной позиции, и, пока нет соответствующего приказа, мы не имеем права двигаться с места. Вы пока тоже лежите. Пока с койки вставать нельзя. Воспринимайте как приказ. У вас сквозное в ногу. И можете считать, что вам крупно повезло. Всего хорошего. Поправляйтесь.

Полковник встал со стула, перемялся с ноги на ногу, точно хотел ещё что-то добавить, но молча обернулся и пошёл к выходу.

Полевую кухню на этом месте мы не разворачивали. Нашего кашевара убило разорвавшимся снарядом ещё два месяца назад, когда полк только подходил к Сталинграду. Теперь всем выдавали привычный сухой паёк, как только подвозили еду, но не каждый день.

Я получил свою норму, но есть ничего не мог. Болела не нога, её я не чувствовал, а моя рана на щеке, и я злился из-за того, что такое ничтожное ранение приносит мне столько беспокойства. И всё время передо мной возникали эти два горящих в агонии глаза. Они были

уже не голубые и не серые. Они потеряли свой цвет, сменив его на страх неизвестности. И я никак не мог понять, мою или свою пулю он в себе оставил.

Я пытался представить, каким же человеком был мой попутчик? Чем он занимался до войны? Была ли у него семья? Кто ждал его дома?

Он был ещё молод для мужа и отца, а теперь, после сегодняшнего дня, так никогда ими не станет.

Я представлял себе его маленький бревенчатый деревенский домик с двускатной крышей. Такие здесь везде. Калитка, резные наличники на окнах, растворённые ставни. Под окнами низенькая скамья. В окнах льняные тканые полотнища занавесей. В избе белёная печь. Тепло и пахнет хлебом. В красном углу иконки. Перед ними горит маленькая церковная лампадка. Вдоль стен дощатые лавки, в центре большой стол. На его краю расшитый рушник и каравай. Старая мать штопает к осени худую одежду, прислонившись спиной к тёплой печке. Вот она поднимает свои выцветшие от яркого солнца глаза, услышав сиротливый скрип калитки во дворе. Бросает своё занятие и торопится к двери. Выбегает на крыльцо, затем сразу во двор, подходит ко мне и смотрит мне прямо в глаза.

Я молчу. Но она же мать, она всё понимает сразу. На щеке у меня сочится кровь, и рана саднит. Я трогаю её рукой, но только пачкаю в крови. И женщина плачет около меня, опустившись на колени, как у могилы. Но не по мне. Я, вернувшийся, живой, ничего для неё не значу.

Я лежал в небольшой комнатке, где у нас располагался перевязочный пункт. Кроме меня, в помещении никого не было. Фельдшер, обработавший мою рану и сделавший перевязку, ушёл в ночной караул. Единственное окно в этой комнате было плотно заложено ставнями. На столе, где лежали тетради медицинских записей и бинты, стояла чахлая керосиновая лампа, всего накала которой только и хватало на то, чтобы обозначить в сумраке прямоугольник стола с его содержимым.

Постоянные ночные кошмары, словно обязательные спутники войны, принимаемые за явь, превращали мой недолгий сон в изнурительную муку. Так было уже много месяцев.

Здесь никто толком не высыпался. Но, несмотря на усталость и недосып, я и теперь был готов тут же ринуться в бой. Снова стрелять, убивать, в атаку, на врага! И так каждый. Каждый из нас.

После того, как я очутился на передовой, я понял, что нельзя никогда говорить: я не убью. Случаются разные обстоятельства, которые зачастую тебе неподвластны. И можно только сказать с робкой надеждой: я надеюсь, что никогда больше не убью. Потому, что не придётся убивать.

На запястье тикали часы, подаренные моим отцом. Всю ночь по ним я отсчитывал время, оставшееся до рассвета.

Я думал о том, что в случае внезапной атаки, если наша часть будет отступать, меня похоронят прямо здесь, где я сейчас лежу живой. Я видел, как оставляли раненых, и мне самому приходилось делать так. Меня мучил страх сна, как любого ухода в небытие. Казалось, что не смогу проснуться.

Ночь была тихой и холодной. Земля очень быстро остывала. Перепады температур в этих местах были весьма значительными, и многие никак не могли с этим освоиться. Но только не я.

Я вырос далеко отсюда. Там, где климат ещё более суров и непредсказуем.

Летом, когда встаёшь ранним утром ещё до восхода солнца, можно увидеть тонкую гладь льда, накрывшую водоотстойник во дворе. Капля влаги, зародившись высоко в небе, набрав вес, стремительно падает вниз, но, когда в горах ночь, ничто не смеет потревожить тишину и покой. И она медленно и осторожно опускается на землю в виде белой пушинки снега. А позже, когда солнце достигнет зенита, в горах стоит невыносимая, сухая жара.

Солнце беспощадно, и укрыться от него, кроме жилищ и небольших навесов, зачастую негде.

Ещё не кошенная трава сохнет прямо на равнинах. Будучи подростком и бегая среди горных массивов, я мечтал когда-нибудь перенести на холст или бумагу всю красоту пейзажей своего края. Словно предчувствуя расставание, я хотел сохранить её с собой навсегда.

Земля моей родины неблагоприятна. Любой труд земледельца нужно умножать вдвое, чтобы получить хоть какой-то урожай.

В моих краях растут низкие, корявые деревья. Они словно симметричны относительно плоскости земли и хватаются ветвями за небо так же, как и вгрызаются в сухую горную породу под землёй.

Язык моего народа ломаный, словно скалистые камни. Солнце жжёт лица людей, делая кожу тончайшей и гладкой, точно шёлк золотистой охры обтянул их скулы. Дома там строят один сверху другого, громоздя постройки из тесаного камня на склонах гор так, что крыша одного дома является двором другого.

Такое замысловатое строительство никак не случайно. Издревле поселенцы горной местности, чрезвычайно стеснённые малоземельем края и гнётом царского самоуправства, отбирающего у коренных жителей Прикаспийской низменности земли в пользу своих высоко поданных, целыми семьями уходили в горы. Для постройки жилья они выбирали самые скудные земли, оставляя всё лучшее под посевы. Тем самым стараясь обеспечить себе хоть какой-нибудь прокорм. Мои предки строили себе жилища прямо на каменистых склонах. Считалось, что настоящей горской сакле хватает трёх стен. Четвёртая – скала.

Храбрость духа и жизнестойкость предков всегда вызывали в моём сердце восхищение и гордость. И, конечно, я просто преклонялся перед искусством моего народа.

Разнообразные орнаменты были здесь повсюду. Они украшали жизнь горца, отливая бронзовым блеском на деревянных унцукульских кувшинах или чернью проявляясь на серебряной рукояти клинка джигита.

Женщины гор должны были бережно хранить свою красоту под платком, подменяя её искусностью серебряных украшений. Камни с браслетов и колец кричали о своей красоте, выпирая наружу, мелкие русские монетки на головных украшениях звенели, озвучивая каждый её шаг, а поясные пряжки были столь массивны, что требовали от обладательницы большой стойкости и выносливости во время носки. Этот наряд своей тяжестью словно подготавливает девушку к тяготам семейной жизни.

Воплощённое в безупречную работу и завещанное грядущим поколениям в камне, дереве, серебре или вышивке, искусство моих предков завораживало меня и делало своей частью.

Орнаментами, украшающими сельские дома, я мог любоваться часами. Они были как вкрапления среди дикого, необработанного горного камня. И мне казалось: вот здесь творил человек, а рядом – сама природа.

Некоторые узоры были столь причудливы и витиеваты, что непонятно было, как мастер мог их придумать. Что вдохновило его на такой орнамент и о чём он думал, создавая его? Приходили ли они ему во сне, как узоры ворот рая, или он видел их среди зелени земных садов? Может, о них ему напел ветер с родного края, изобразив вензеля из дорожной пыли на его пути к дому? Или это облака, запутавшись в горных вершинах, проплыли над его головой в порядке подобной композиции? Или этот узор представлялся ему в родных национальных напевах, знакомых с детства каждому, кто вырос в горах? Я не знал. Я мог только восхищаться этим.

Существует такая легенда – не легенда, быль – не быль, но очень правдоподобная история. Однажды в наши края забрёл некий путешественник-иностранец. Он был падок на экзотику, побывал уже во многих уголках планеты и написал множество научных книг о жизни африканских племён, жителей Крайнего Севера, тундры и стран Востока. Ни слова он не знал

ни по-русски, ни на каком другом местном языке, но хотел понять, как же живут здесь люди. Хотел уяснить уклад и жизненную философию, быт и традиции.

Так, остановил он одного встретившегося путника, начал расспрашивать, а тот, ничего не понимая, отвечает ему то, что не поймёт иностранец. Расплевались и распрощались.

Путешественник пошёл дальше и, встретив ещё одного местного жителя, остановил и его. Начал расспрашивать. Но и тот не понял ни слова.

Так учёный человек добрёл до самого центра большого аула. До главной площади, на которой как раз в этот день сельчане отмечали большой праздник.

Певцы пели песни, музыканты играли музыку, звучала зурна, и били барабаны. Умельцы вынесли на продажу и интерес толпы свои изделия. Посмотрел на это иностранец и разом всё понял. И уклад, и философию, и быт, и культуру. И спрашивать больше было не за чем.

Истари в горах каждое село занимается своим промыслом. Лепят из глины или валяют войлочные бурки, ткут сумахи или вырезают из дерева утварь, если заняты промыслом, то в каждом доме и в каждой семье.

И у нас говорят, если хочешь понять человека, посмотри на дело его рук, послушай его музыку, песни, понаблюдай за ним в танце и сразу поймёшь, кто перед тобой.

Традиция – это великая вещь. С традиции начинается всё, что когда-либо возьмёт силу в рамках мировых устоев. Забавные, суровые, устаревшие, жизненно обоснованные или даже нелепые, они существуют у всех и повсюду. И самое главное – традиции вносят в нашу жизнь какую-то закономерность. Делают её более правильной, с точки зрения наших предков. Обозначают связь и преемственность поколений.

Традиции чужд плагиат. Никто не обвинит тебя в заурядности, если ты чётко следуешь какой-то традиции. А попробуй выйти за её рамки или, того хуже, пренебречь ею, так тут же окажешься каким-нибудь вторым или третьим, потому что наверняка найдётся тот, кто уже делал нечто подобное ранее.

Когда мне исполнилось три года, вся моя семья, которую составляли три сестры, мама и отец, переехала в Темир-Хан-Шуру. Город, расположенный в предгорье Главного Кавказского хребта, в то время был столицей Дагестана.

Это было настоящее событие для нас! Людям в горах свойственна коренная оседлость. Многие сельские женщины за всю жизнь ни разу не покидали пределы своего села, а тут переехать сразу в город, оставить обжитое жильё, хозяйство и привычный круг знакомых – это было тяжело.

Незадолго до переезда мой отец, занимавшийся врачебной практикой в статусе фельдшера, окончил медицинскую академию в Москве, и теперь с дипломом врача высшей категории он мог расширить свою практику. Надо сказать, что на то время во всём Дагестане насчитывалось всего-то не больше десятка квалифицированных врачей. Их знали поимённо и, конечно, очень уважали.

Мой отец, высокий, статный, видный мужчина чуть за сорок.

Первое воспоминание об отце у меня связано как раз с его внешним видом. Оттого ли оно осталось у меня так крепко, что было засвидетельствовано фотокарточкой, или же я и представлял себе в воспоминаниях фотокарточку за натуральный, живой его вид... не знаю.

Итак, мой отец, высокий, статный, видный мужчина чуть за сорок, хотя можно было дать и больше, носил кавказскую рубаху, брюки-галифе по тогдашней моде и каракулеву папаху. На ногах его блестели прекрасной выделки азиатские сапоги с узорной строчкой. На кожаном поясе всегда присутствовал красивый унцукульский кинжал. Он, утратив оборонительное назначение, носился отчасти из-за красоты, отчасти как дань традиции, а всего чаще использовался как перочинный ножичек.

Отец носил усы. Они добавляли ему важности и импозантности, а мне казалось, что даже и силы. Для выезда к больному на дом он мог вызвать фаэтон, ему было это положено.

Я был горд! Я знал, что он любит меня, заботится обо мне и никогда я не буду в обиде.

Подрывает всю детскую достоверность то, что помню я отца в таком виде в чёрно-белых с желтоватым налётом цветах. Это я осознал намного позже.

Мы поселились в небольшом доме, часть первого этажа которого превратилась в приёмный кабинет отца. Сам дом великолепно располагал к этому. У него было два входа, причём один из них вёл непосредственно на улицу, тогда как другой выводил во внутренний двор и через небольшой садик уже на улицу с другой стороны.

Дом целиком был сложен из тёсаного горного камня, пол также был каменный, а цоколь весь обложен речным булыжником. Это считалось достаточно дорого и добротно по местным меркам. Такое строительство могли позволить себе только зажиточные люди.

Раньше так жили торговцы или люди, имеющие большие земельные наделы, а также высшее духовенство, например, мулла сельской мечети мог иметь такой дом. После Великой Октябрьской революции все такие дома ушли в собственность городских властей и совхозов, и большинство из них были перестроены в школы, больницы, клубы.

Наш дом каким-то чудом миновала подобная участь, и он остался приспособленным к частному пользованию. К дому также примыкал, как полагалось, сарай для скотины, который по старому типу строительства представлял единую постройку с жилыми помещениями, и небольшой земельный участок.

До нас в этом доме жил какой-то учёный-агроном из России. В саду он разбил настоящий цветник. Посадил плодовые деревья и даже одну берёзу. Она почему-то не прижилась. Да и агроном вскоре вернулся на родину. Так дом, пустовав совсем недолго, достался нашей семье.

Переезжали мы холодной зимой.

Сад стоял совершенно голый и был весь засыпан снегом. А поздней весной, когда снег стаял и всё вокруг зазеленело, в нашем саду то и дело небольшими очагами начали распускаться цветы. Самых разных форм и видов. Таких никто из моих сестёр и я сам никогда и не видели. Они цвели всюду. Мы даже боялись обрабатывать пустые участки земли, думая, что цветы могут прорасти и там.

Мама принялась ухаживать за цветником, а я взял себе за привычку каждое утро поливать сад. Для этого мне служила большая металлическая лейка.

Так, нашими стараниями на отцовском столе в кабинете каждый день стоял свежий маленький цветочный букетик. От этого пахло там не лекарством, а маем, июнем, июлем или августом, в зависимости от даты по календарю.

Я уже давно позабыл, какими были эти цветы на вид, но помню все их запахи. До сих пор они напоминают мне о той поре безмятежного детства. Оно всегда полно иллюзий. Видимо, для переживания их и дано нам это прекрасное время. И когда ещё это может повториться, как только не в глубокой, безумной старости, чтобы, как и в начале жизненного пути, оградить нас, слабых духом и телом, от жестокости реального окружающего мира.

Было что-то около пяти утра, и в комнате всё так же темно и тихо, как меня начало донимать странное, тревожное предчувствие. Было ли оно рождено моим беспокойным сном, ранением или вчерашней неудачной вылазкой в лес, я не знал. Всё было тихо. Так тихо, как обычно бывает перед самым страшным боем. Часовые молчали.

Я пролежал в тревоге минут пятнадцать, когда с улицы послышались частые звуки шагов. Кто-то бежал вдоль стены избы.

Через мгновение у входа в дом раздались звуки автоматной очереди, признаки сопротивления, резкие удары, и вот уже дверь в мою комнату открывают ногой, и на меня смотрит вражеская немецкая винтовка.

Нас атаковали внезапно. Немцы ринулись сразу из леса и с тыла. Мы попали в окружение. Те немногие, кто отважился стрелять, были убиты на месте. Немцы зашли с другой стороны, пройдя всю деревню ещё ночью.

Из караульных никого не осталось в живых. Весь командный состав и бойцы, не входившие в ночной караул, были настигнуты спящими и взяты под фашистский прицел.

Всех вывели на открытую местность на окраине деревни и построили в одну длинную шеренгу.

Меня взяли одним из последних, когда все остальные уже были на улице. Стащили с койки, вывернули карманы, сразу же отобрали табельное оружие, документы, выволокли из дома и, так как я не мог самостоятельно стоять на ногах, кинули прямо на землю около остальных. И если бы я не встал рядом со всеми, превозмогая адскую боль от ранения, то немцы не дали бы мне выжить.

Пленных сразу же разбили на группы по четыре-пять человек и повели вдоль деревянных изб к церкви, расположенной на небольшом пригорке.

Меня туда почти тащили на себе двое приятелей-сержантов.

Ещё издали я заметил, что вокруг церкви большой группой, окружённой немецкими конвоирами, уже стояли наши военнопленные. Чуть поодаль от них стоял высокий, средних лет, с красивыми адмиральскими усами человек в форме. Гордо подняв голову, он смотрел куда-то вдаль.

Его фигура сразу же привлекла моё внимание. Было в ней что-то, что не давало оторваться взгляду. Какая-то особенная, неподдельная гордость и военная стать. Руки этого человека были связаны за спиной. Напротив него стояла небольшая компания немецких офицеров.

Приблизившись ещё, я обратил внимание, что среди них есть и один парень в красноармейской гимнастёрке. Он стоял в самом центре и, указывая как раз на того человека, что-то объяснял фрицам.

Когда мы проходили мимо, до меня донеслись обрывки его слов:

– Вот этот, этот, – повторял он, обращаясь к немцу, который стоял с бескровным лицом греческой статуи. – Этот, что с усами. Он, – пояснил солдат, проведя у себя под носом пальцем закорючку, – он был у нас политруком.

Услышав его слова, я вздрогнул. Холодная дрожь пробежала по моему телу, будто я стал свидетелем чего-то немыслимого. Я взглянул на человека, на которого указывал предатель.

Он всё так же спокойно смотрел на небо, и мне было видно, как широко и жадно вдыхает он воздух полной грудью. Так, как будто хочет наполнить ветром паруса внутри себя, как корабль.

Размеренно, вдоволь, большими глотками он вдыхал воздух родной земли, как делают это люди только в последний раз в своей жизни. Казалось, ещё пара глотков – и его паруса расправятся, позволив ему воспарить на них и улететь отсюда прямо в небо.

Я всё ещё не мог оторвать от него взгляда. Мне хотелось дышать вместе с ним одной грудью. Набрать этого величественного и свободного воздуха как можно больше, как будто только это могло его спасти. Или спасти меня вместе с ним. Спасти нас всех.

В тот момент я понял, за что мы на самом деле сражались в этой войне. Мы приняли бой не потому, что кто-либо из нас этого хотел, а оттого, что никто не мог его не принять. Оттого, что есть в жизни такие вещи, которые нельзя допускать любыми усилиями и сверх них.

Конечно, среди военных ходили слухи о предательстве, о сотрудничестве с нашей стороны и некоторой помощи фашистам, но я не воспринимал это всерьёз и принимал скорее за происки врага и провокацию, чем за правду. Мне было нелегко в это поверить. Теперь же, столкнувшись с этим воочию, став свидетелем подлого и низкого, вероломного предательства, самого гнусного из всего гнусного, что может быть в жизни, я был возмущён, и всё во мне вскипело от негодования.

Я думал: как же так, мы боремся с ними, потому что они хотят взять себе наше, мы ненавидим их, потому что они уничтожают то, что мы любим, и презираем их за то, что они лишают нас самого дорогого, а как же он? Как же этот солдат? Неужели он может мыслить и чувствовать по-другому? Неужели он не вырос на этой земле и не любит свою страну, которая его вскормила своими хлебами, всё равно как мать? Неужели же не видит он, что они захватчики? Или не видит он, как убивают его земляков, его братьев? Как может он думать иначе? Как может выступить против Отечества, которому он всем обязан от первой до последней своей минуты?

Он должен был стоять, как все. Стоять и молчать, несмотря ни на что. А если придётся, то и погибнуть, не раскрыв рта.

Мы, как единое целое, верим в силу и правоту своей Родины. Почему же этот выродец смеет ставить себя супротив общего, признанного порядка?

Я был полон гнева. Я не мог поверить, что этот предатель – такой же человек о двух руках, двух ногах и с головой на плечах. Что он ест, пьёт и дышит так же, как я, и говорит со мной на одном языке. Такой же, как я, или нет? Да он хуже фашистов.

Я ушёл уже далеко от этого места, но всё оглядывался и оглядывался назад.

Политрук стоял по-прежнему прямо и гордо, осанисто, с настоящей армейской выправкой, не смотря в сторону своих обидчиков. И только в какое-то последнее мгновение, до того, как я повернул голову вперёд, этот человек посмотрел в сторону немцев. Он взглянул прямо в глаза своей смерти.

Один за другим раздались два выстрела, и, оглянувшись в последний раз, на холме я уже никого не увидел.

За нами неспешной походкой шли только немецкие офицеры. Они беседовали о чём-то совершенно будничном и повседневном. Даже посмеивались между собой. Один из них раздавал приятелям папиросы из портсигара.

Предатель был им больше не нужен. Предатели никогда никому не нужны.

Нас подвели к церкви, где наш конвой соединился с основным вражеским полком и рассеялся вдоль всей захваченной местности.

Был уже полдень. Сначала всех затолкали в просторную церковную залу.

Признаюсь, раньше я никогда не входил в церковь, хотя мы, проезжая и проходя километры до места боя, частенько встречали их на своём пути в разных городах и деревнях.

На главной площади в Махачкале стоял огромный храм Александра Невского с куполом и колокольной. Мне всегда было интересно взглянуть, каков он изнутри.

Как много я упустил из-за этой войны, как много я узнал благодаря войне. На передовой всё смешивается в единое грязное месиво у тебя перед глазами. Убитые тела, пули, лужи, земля, комками сыплющаяся на тебя с неба. Разряды, картечи, запах костра и смерти.

Из всей великой русской архитектуры успеваешь посмотреть только на руины и пепелища зданий. Их мне было жаль до слёз.

Пустые и тёмные, с ожогами от пожаров на стенах, искалеченные бомбами, потерявшие крыши во время воздушных атак, с пустыми, выбитыми глазницами вместо стёкол, они провожали нас, когда полки проходили мимо, оставляя их как раненых на поле брани.

Раненные, но ещё живые, они стонали, словно умоляя не оставлять их здесь, не покидать, не забывать. «Пока, – говорил я, с грустью оглядываясь на них, – мы оставляем вас на время. Когда-нибудь мы обязательно вернёмся».

Простор, поднимающийся высоко к небу, необычная красота самобытной росписи, величие и какая-то неземная красота заворожили меня. Я не мог не смотреть всюду: вверх и по сторонам. На минуту мне показалось, что воцарилась полная тишина, в которой непременно должен был раздастся высокий запев. Но звучали только стоны и немецкая речь.

Пленных было слишком много. Бесшинельникам велели располагаться в церкви, и вся она, большая, основательная, с толстенными стенами и узкими вытянутыми окнами-бойни-

цами, внутри была плотно забита пленными. Остальные и те, что ещё прибывали, расположились прямо на земле у её стены на теневой стороне.

Смертельно уставший и не чувствовавший раненой ноги, я повалился на траву и только тогда смог осмотреться.

Кругом были пленные русские. Было много раненых. Люди, тесно прижавшись друг к другу, валялись на земле с рваными ранами и истекали кровью, которая окрашивала землю вокруг багряными пятнами. Офицеры, солдаты, полковники. Пуля – дура не разбирает чины и регалии. Земля словно в жалость или из сострадания этой крови не принимала. Густая и вязкая, она лежала лужами и не впитывалась.

Я увидел, как вдалеке мелькнул белый халат. В плен попала и молодая медсестра. Совсем девчонка, она мельтешила между раненых, раздавая перевязочные бинты тем, кто мог оказать себе помощь сам, и маленькие шкалики со спиртом тому, кому ничего уже больше не помогало.

Всюду сновали немецкие овчарки. Справа от меня, метрах в двух, сидел солдат в изорванной и грязной гимнастёрке. Он тихонько постанывал от боли, зажимая раненое колено рукой и раскачиваясь вперёд-назад. Я почти не слышал его стонов, но смотрел на него, и мне начало казаться, что они звучат всё сильнее, раздаваясь у меня в голове. Он всё стонал и раскачивался, раскачивался и стонал. Как маятник. И этот адский стон нарастал и перекрывал собой любой другой звук. Только жалобный, протяжный и бесконечный стон, и больше ничего.

Не могу вспомнить, сколько я смотрел на него, но в конце концов, обессиленный, я опустил на траву и тут же уснул. Силы словно стекли с меня по капле, как пот стекает со лба.

После нескольких суток ожидания атаки, без сна и полноценной еды, после ранения и пленения я уже не чувствовал своего тела. Уже не задумывался о боли и о своём желудке, и это перестало мне мешать. Ушли куда-то, скрылись мои ночные кошмары. Дальше нас всех, собравшихся здесь волею несчастливой судьбы, ждала глухая неизвестность. И я не мог знать, увижу ли когда-нибудь свою мать, родных, вернусь ли я домой. Вдохну ли ещё хоть раз этого чистого горного ветра. Мне было бесконечно жаль досрочно расставаться со всем этим. Так скоро, так больно, не подведя черты и не простившись.

Мне вспомнилось, как родные провожали меня на фронт. Это был сентябрь сорок первого года. За одну ночь, когда из военкомата в наш сельсовет пришёл документ о мобилизации всех военнообязанных, мать сшила мне походный мешок, в который положила все предметы первой необходимости. С ним я вместе с другими призывниками на лошадях доехал до Гуниба, где располагался призывной пункт. А потом на машинах нас отправили до Махачкалы, откуда и должен был отойти поезд с новобранцами.

Всех собрали недалеко от центральной площади города и распределили по подготовительным курсантским частям. Я должен был ехать в Грузию, в Телави.

Почти всё моё село было в тот день на перроне.

Махачкала кипела в каком-то непонятном котле энтузиазма, натиска и страдания. Почти вся молодёжь, кому ещё не исполнилось восемнадцати, отправилась в тот день на войну, записавшись добровольцами.

Меня провожали мать, сёстры и дядя Гаджи с женой. Они приехали в Махачкалу на колхозном грузовике вместе с другими родственниками. Женщины громко плакали и в молитвах взывали к небу. Весь городской вокзал был похож на одно большое горе. Старики напутствовали советом и велели по возможности односельчанам держаться всем вместе. «Пока рядом есть друг, ты сам не пропадёшь!» – говорили они. Но никто из собравшихся здесь в этот день и представить себе не мог всех тех ужасов, которые сулила им война.

Прощаясь со мной, мать положила свою ладонь мне на грудь, там, где под рубахой билось моё сердце, и сказала следующие слова:

– Сколько бы людей ни было на поле боя, умрёт лишь тот, кому суждено умереть. Смотри, не будь трусом, сынок.

Эти слова разломили пополам мое сердце. В этот момент мне стало так страшно, как не было страшно потом в бою и перед лицом любой опасности. Я не ожидал, что мать скажет мне так.

Глубокой ночью меня, валяющегося под церковной стеной, разбудил дождь. Это был уже настоящий, набравший полную силу ливень.

Вся земля была мокрой. Рядом со мной примостился ещё какой-то пленный. Он спал настолько крепко, что даже крупные капли дождя, колотившие его по распахнутой груди, не могли согнать с него сон. Это показалось мне странным.

Я поднял взгляд к небу и увидел руки. Много рук, и все разные, но преимущественно правые. Руки, худые и голые, костлявые, покрытые густым и мокрым волосяным покровом, изрезанные в кровь и грязные. Они высовывались из-за решётки узкого церковного окна в стене надо мной и жадно хватали ледяные капли дождя. Набрав в ладонь немного, всего-то несколько капель, рука исчезала, и уже через мгновение, ненасытная, она появлялась вновь. Мне было слышно, как пьют эту влагу. Люди лизали себе руки, как собаки, чтобы насытиться, но животная жажда всё равно беспощадно мучила их.

Это было похоже на кошмар. Всхлипывания, суতোлка, лакания, истошные вздохи и ругань. Они алкали, и желание их было бесконечно.

Я зажмурил глаза, закрыл уши, чтобы ничего этого не слышать, и снова уснул. Так я проспал до самого рассвета.

Сквозь мой сон автоматной очередью пробилась хлёткая немецкая речь, и я очнулся.

Небо было покрыто чистой и свежей лазурью. Вокруг, на достигаемом взглядом просторе в несколько километров, не было ни облачка. В любое другое время я бы порадовался этому небу, но только не сейчас.

Я взглянул в сторону двустворчатых церковных дверей. Они были настежь распахнуты. Оттуда-то и слышались громкие немецкие голоса. Один из фашистских офицеров стоял у входа и командовал немецким рядовым, находившимся внутри.

Через пару секунд двое солдат понесли из церкви что-то к дороге.

С моей позиции видно было не слишком хорошо, к тому же и несли они в противоположную сторону.

Только когда немцы бросили свой груз на размокшую после дождя землю и отправились за следующим, я разглядел издали, что это было человеческое тело. Следующая пара солдат тут же кинула на него второе.

На тот момент сомнений у меня не возникло по поводу того, что наших пленных солдат застрелили, пока те спали.

Я еле встал с места, чтобы подобраться ближе. Я ступал осторожно, опираясь на здоровую ногу и стараясь глядеть вниз. На земле лежало ещё много спящих солдат. Но я был слаб, и ноги меня не слушались. Голени были тяжелы и отекали так, что я почти их не чувствовал.

Случайно я всё же задел одного солдата, чиркнув довольно сильно носком сапога прямо по его голове. Солдат никак не отреагировал. Я посмотрел на его лицо и содрогнулся. Это был мертвец. Но его глаза всё ещё продолжали смотреть на меня, точно из другого мира.

Я повернулся кругом, оглядев остальных пленных. Кто-то сидел на грязной жиже и смотрел перед собой. Другие о чем-то говорили. Остальные так же, как и я, наблюдали за немцами. Но были и те, кто лежал так же, как уснул вчера вечером. Все они были мертвы.

К этому моменту к дороге, где сваливали трупы, немцы несли уже шестое тело. Потом было седьмое, восьмое, и так без перерыва ещё почти час немцы выносили из церковной залы и сваливали на мокрую дорогу тела наших солдат.

Бледные, окоченевшие трупы валились друг на друга, как мешки, свисая вниз голыми и мокрыми человеческими руками. Они замёрзли. Переночевав на холодном каменном полу,

обессиленные от ранений, существенной потери крови, голода и бедственного положения, они заснули и больше уже не захотели просыпаться. Мёртвых было больше сотни – примерно около одной трети всех пленных.

Закончив свою работу, немецкий офицер надменно обратился к нам. «Копать!» – крикнул он и ушёл.

Все, кто оказался поблизости, наблюдали за немцами и слышали приказ, тотчас же, не сговариваясь, словно повинуюсь какому-то единому внутреннему голосу, собрались вместе и упали на колени.

И мы копали.

Я вместе со всеми яростно припал к мокрой глинистой земле и рыл её голыми руками.

Сначала земля поддавалась, и все копали быстро, ладонь за ладонью черпая землю перед собой и отбрасывая её в стороны. Но уже вскоре пошла сухая, твёрдая порода, вдобавок силы быстро исчерпали себя, и копать стало в сто раз тяжелее. Сухая пыль забила под ногти и в трещины ладоней, которыми я въедался в каменный грунт, соскребая по горсточке пыли. Ногти обламывались у самой мякоти.

Я исцарапал себе руки до крови, и эти ранки тоже забились земляной пылью.

Мы быстро поняли, что копать надо в основном вширь, но не вглубь.

Кое-как всем вместе нам удалось выкопать яму в полметра глубиной, распластавшуюся на земле квадратом примерно два на пять метров.

Дальше принялись перетаскивать в неё тела и укладывать их друг за другом. Силы были совсем на исходе, и за одно тело приходилось браться впятером, чтобы только донести. Трупы были холодны и, как мне показалось, очень грузные, намного тяжелее веса тела живого человека.

Один молодой солдат вскоре не выдержал такой работы. Сдали нервы. Он начал плакать, да не просто плакать, а принялся реветь во всю мощь, закрывая глаза измазанными в земляной жиже ладонями.

Рёв быстро перешёл в истерику. Тело его затрясло в нервной судороге, и он, повалившись прямо в яму на трупы, принялся корчиться, точно его пинают в живот.

Парня быстро достали и оттащили от могилы, и он ещё долго дрожал и всхлипывал в рыданиях, лёжа прямо на земле недалеко от нас.

К этому моменту солнце уже достигло зенита и палило беспощадно. Все истекали потом. Приходилось уже не нести трупы, а волочь их по земле. Некоторые, старались вовсе не смотреть на них и тащили, крепко зажмурив глаза.

В конце концов все тела были уложены и закопаны. После этого один наш офицер, сняв с себя сапог, размотал портянку и оторвал от её края лоскут во всю длину. Им он перевязал две сломанные палки крестом и воткнул в свежую землю.

Все склонили головы и стояли молча некоторое время.

Меня ноги уже не держали. Я опустился на траву около деревянного креста и так же молчал со всеми.

Это была последняя дань и почеть умершим солдатам. Так похоронили бы и меня. Но в моих краях совсем иные обычаи погребения.

Была глубокая, серая осень. На похороны в наш дом с самого утра собралось почти всё село. Приезжали люди из других сел, районов и городов.

Женщины, как только рассвело, начали приготовления на кухне. В большом казане варили рис, в кадках подходило тесто для хинкала, отдельно готовили сладости, чтобы раздать садака. Во дворе к дереву были привязаны три барана, которых должны были в тот день зарезать.

Я искал мать, но нигде не находил.

Она была ещё сильна и вполне здорова в то время, но смерть отца после долгой тяжёлой болезни всё же оказалась сильнейшим и безжалостным ударом для неё.

В родительской спальне на втором этаже мать лежала на старой деревянной кровати, и за ней ухаживала младшая сестра, Шахри. Она то подносила ей воды, растворяла порошок от головной боли, то меняла холодный компресс со лба, постоянно докладывая о приготовлениях, успокаивала, утешала. И в конце концов залилась горьким, неуправляемым плачем, который был слышен во всём доме.

Пожалуй, из сестёр именно Шахри была сильнее всех привязана к матери. И мать сама, при всей своей строгости к нам, относилась к ней с каким-то едва уловимым трепетом.

В соседней со спальней комнате – это была моя комната – покоился отец.

После смерти покойного надлежит обмыть в специальном тазу. На всё наше селение был один такой таз, и я никогда до этого дня его не видел, как не видел потом и после. Никогда я не знал, у кого он хранится, но предполагаю, что, должно быть, у муллы.

Этот таз был как символ горя. Когда человек шёл по селу, неся его в свой дом, не было удачи и каждому, кто его встретил. Из-за этого, чтобы избежать дальнейших трагедий, за тазом, по возможности, ходили поздней ночью или рано с утра.

У аварцев хоронят без одежды. По мусульманским обычаям отец был полностью, в несколько слоёв, завернут в белый бязевый саван и уложен на специальный ритуальный коврик. Вокруг него на полу сидели старухи во всём чёрном. Перебирая костлявыми, сухими руками янтарные четки, они читали суры из Корана, воедино слившись голосами.

Такую необходимость, как правило, доверяли родственникам, но этих женщин я никогда не видел до этого дня в нашем доме.

Я попытался взглянуть им в лица, но их черты мне ни о чём не говорили.

Их губы, перешёптывающие арабские слова, будто и не произносили никогда обыденной речи. Глаза были едва прикрыты в скорбной поволоке, и пальцы уже много лет подряд перебирали число 33 в бусинах, связанных одной нитью, среди которых не было ни первых, ни последних номеров, как не было первых и последних среди тех, по ком они плакали.

Потом я часто вспоминал этих женщин в трауре. Несколько раз они мне снились, и я мучительно всё пытался узнать хоть одну из них. Найти связь между ними и нашим родом. И всё зря. Только у людей случалось горе, они уже стучали в их двери и исчезали, окончив ритуал.

Мне представлялось, что у этих старух никогда не было семьи. Они никогда не рожали детей и не занимались ничем, кроме того, что ходили по домам вслед за вестником смерти и отпевали мертвецов. Кто они были на самом деле? Откуда? Где жили своей будничной жизнью? Я не знаю и сейчас. Задать эти вопросы матери я никогда не решался, и они, навечно открытые, мучают меня до сих пор.

Мне было тогда пятнадцать. Я ходил по коридору второго этажа нашего дома в селе из конца в конец, сквозь щели между неприкрытыми дверями заглядывая то в одну комнату, то в другую.

Было видно, как, прильнув к маминой груди, в её комнате рыдает сестра, как мама гладит её рукой по голове, едва сдерживая слёзы. В другой комнате я видел, как чёрные, точно вороны, старухи возносят руки к небу, прося об отпущении прижизненных грехов. Я знал, что они будут делать это ещё три следующих дня.

Остановившись, я прижался вплотную к двери и взглянул на него.

Мой отец при жизни был высоким и умер несколько даже грузным, с небольшим брюшком мужчиной. Его фигура мне всегда представлялась достаточно массивной, но теперь, в саване, это словно был не он вовсе. Тело казалось маленьким, совсем иных пропорций. На какое-то мгновение я замер в смятении, вдруг совершенно явным показалось мне, что там внутри, под этой сплошной бязью, некто совсем чужой мне.

В этом образе не было ничего мне родного. Ничего, что могло бы нас объединять. Я не поверил. Он ли это? Не может быть. Это обман, вдруг почудилось мне.

Из соседней комнаты опять слышались всхлипывания сестры, я стремительно отпрянул от двери и продолжил свой путь по коридору дальше. И я не мог даже переступить порог этих двух комнат. Только проходя мимо, я ловил мгновения, глотая воздух, как глотают горечь яда по капле из большой ложки.

Увидев, что работа наша закончена, немецкий офицер тут же погнал нас на построение. Со всех сторон к одной столбовой дороге начали стягиваться пленные.

Это была армия, вывернутая наизнанку. Она была похожа на сбор калек и обездоленных.

Уставшие от работы, измороженные жарой и голодом, мы тоже пополняли их ряды, выстроившись в шеренгу, составлявшую одну из четырёх колонн. Среди пленных трудно было заметить тех, кто был ещё в силах и мог держать строевую выправку. Некоторые вообще едва сдерживали в себе дух. Мне было жутко смотреть на их лица, и было только лучше от того, что я не видел своё.

Позади нас по приказу расположился частый конвой. Каждый конвоир имел при себе ружьё наготове и овчарку.

Собаки были бешеные. Видимо, их долго не кормили, и они обезумели от вероятности скорейшей поживы. Готовые наброситься на всё, что движется, эти звери скалили свои жёлтые клыки сквозь металлическую решётку намордников. Нас они воспринимали за лёгкую добычу.

Из избы, где засело на прошлую ночь немецкое командование, вышел молодой немец какого-то большого чина, что было видно по форме и по тому, как он держался среди своих.

Он выглядел надменно. Тогда мне показалось, что именно эта черта, надменность, и является у немцев определяющей для раздачи титулов и званий. Они получают эту черту как очередную отметку на погон. А потом носят гордо, хвастая, как наградой.

Пересчитав всех нас одним долгим взглядом поверх голов, немец отметил что-то, видимо, цифру, в своём блокноте и удалился в тень под развёрнутую палатку.

Ещё тогда мне подумалось, что, учитывая известную немецкую точность, эта цифра в его блокноте никак не могла быть верной. Было невозможно пересчитать всех нас, стоящих кое-как, вразнобой, кренясь на бок и опираясь о товарища, с одной позиции, вот так запросто. Позже я понял, что на этот счёт не ошибался.

С овчарок сняли намордники. Конвой разошёлся по обе стороны от нашей колонны, а также вперёд и назад.

Получилось, что немец с ружьём стоял через каждые два метра по всему периметру нашей колонны.

Завели военный вездеход, в который село несколько офицеров из командного состава.

Ещё пару минут все топтали землю и ждали приказа. Вот, наконец, он прозвучал на немецком. Торжественно и грозно.

Мы двинулись. Сначала нехотя, тяжело, вразвалку, но уже вскоре отстающих подгоняли бешеные овчарки.

Немцы спускали их немного с поводков, точно невзначай, и они вгрызались в ноги, рвали штанины, сбивали с ног, держались мёртвой хваткой, вонзивши клыки в живое мясо, в голые ступни до крови, и злобно, сварливо скалились на нас, капая вспененной слюной, лая до хрипоты, до звона в ушах. Люди стонали, волочили раненые конечности и семенили, понуриив головы.

Никто не знал, что нам предстоит ещё долгий и трудный путь. И самым долгим днём из всех оказался день первый...

Солнце ещё и не думало клониться к земле, а я был уже изнурён и перебирал ногами скорее по инерции. Мне казалось, что если я остановлюсь, то просто упаду, и меня затопчут.

Мы шли по пыльным, размытым и кривым дорогам под вездесущим летним пеклом, от которого не было спасения.

Из-за жары притуплялся голод. Но жара вытягивала из тела всю влагу, и это, пожалуй, была самая страшная пытка. Я снял гимнастёрку и повязал её на голову наподобие чалмы. Постепенно моему примеру начали следовать те, что шли после. К полудню я ощущал себя так, что каждый вдох стоил мне серьёзного труда, и я мог прочувствовать всеми лёгкими молекулы воздуха, которые распирают их изнутри.

Я чувствовал, как он обжигает горяч, как он тяжёлок мне. Я ощущал его вес. Ощущал, как пыль, растворённая в воздухе дорог, оседает на стенках моих органов дыхания. Впервые за всю прожитую жизнь я дышал так осмысленно. С толком, с вниманием и изумлением. Я дышал всепоглощающе. Дышала и впитывала в себя воздух каждая клеточка моего тела. Тогда как раньше это было как-то само собой, между прочим.

Я словно никогда не замечал того, что вдыхаю и выдыхаю воздух каждую минуту. Как раскрывается моя грудь, наполняясь плотным кислородом, и как стремительно он выходит, раздувая ноздри. Я даже развил в голове теорию, что в воздухе, должно быть, так же содержится какая-то пищевая ценность. Ведь эта пыль, которая есть повсюду, не образуется просто так, из ничего. Это ведь не что иное, как останки насекомых, зверей, людей и ещё сотен организмов, перетёртых в прах, в безвесовые молекулы, переносимые ветром. И если так, то на ней можно сколько-нибудь протянуть, обойдясь без употребления привычной человеческой пищи.

Соседствующий со мной солдат всё шнырял по сторонам глазами. Как рассудил я, он находился в поисках возможностей для побега. Признаюсь, и у меня были похожие мысли. Они напрочь пропали сразу же после того, как на моих глазах моментально расстреляли одного солдата, рванувшегося из колонны в густое колосющееся поле.

Реакция у немцев была спортивная. Многие даже понять не успели, что случилось, а «конфликт» был уже исчерпан, как самое рядовое дело.

До самых сумерек нас вели по этой нескончаемой дороге, а когда наступила ночь, мы пришли в небольшую деревню.

Деревушка насчитывала всего шесть или семь дворов. Не ручаюсь говорить, были ли там местные жители или их всех вырезали, но только нас распределили по пустым коровникам, заколотили все щели так, что нас даже комары не мучили, и поставили караул. Мы ждали, что дадут хлеба, но есть ничего не дали. Поставили только две деревянные бадьи с водой, на глади которой, особенно у краёв, дрейфовали дохлые мухи.

Кто-то отпил. Я пить не стал, только обмыл лицо и руки. Осмотрел свою ногу. Рана не гноилась и быстро затягивалась. Я помнил, как мой отец делал перевязки в таких случаях. Возможно, это мне и помогло.

Вскоре все повалились – кто на сено, а кто на голый деревянный пол – и канули в забвенье. Это была моя первая ночь, когда я не знал толком, где нахожусь и буду ли жив завтра.

Как удивительно мироустройство! Как правильно сотворён живой организм! Насколько рационально устроено его существование. Человек – это подлинный шедевр биоархитектуры и последнее усилие вековых эволюций.

Я дышу. Я втягиваю воздух, моргаю, смачивая свой глаз, сглатываю слюну, чтобы смочить горло. Я должен есть, чтобы жить, и едва ли возможно иначе. Всё, что поступит внутрь меня, принесёт мне силы, пользу или вред и боль. Любой продукт разложится во мне на множество частичек, состав которых отчасти поступит в мою кровь и разнесётся по всему организму. Остальное должно выйти естественным путём. Да, в этом «путешествии» мы совершенно забыли об этой надобности. Это всё оттого, что воздух разлагается без видимого остатка. Ну, так вот как же всё это надо было придумать! Как же всё нужно было безупречно просчитать!

Я рос, и мои клеточки множились, составляя новую плоть, но всю совершенную и правильную. Точно по какому-то лекалу, я вырос похожим на своего отца. А он был похож на своего.

И где все эти чертежи? Где они хранятся? Какая бумага может вынести на себе груз миротворческого характера? И где эта громадная библиотека, способная вместить в себе триллионы подобных чертежей?

Человек никогда не поймёт этого не то что бы до конца, а даже отчасти. Такие сакральные знания скрыты от него навсегда.

Мозг заранее создан таким, чтобы в нём никак не могли бы возникнуть ответы на подобные вопросы. Но здесь, в ситуации, где жизнь человека повисает на волоске, когда достаточно нелепой случайности, глупой провинности или чьей-либо воли, чтобы нить оборвалась, именно здесь я задавался этими вопросами. Они мучают меня и спасают одновременно.

Теперь я могу не замечать всего, что творится вокруг меня. Этой грязи с кровью вперемишку. Этой низости и жестокости, злобы и вероломства. Не видеть смерти. Мой дух восстал внутри меня, и разум сбережёт его от гибели. И я буду жить, пока буду думать.

Когда не осталось ничего иного, за что возможно ухватиться и чем можно воспользоваться, мысль становится единственным путём к спасению души. А через неё к сохранению плоти.

Человеку всегда было свойственно планировать свою жизнь. В этом есть глубокая и важная его суть. Привычка поразмышлять о завтрашнем дне на сон грядущий успокаивает и внушает чувство мнимой уверенности в само придуманном своём будущем. Это «планирование» скорее напоминает замки из песка, чем правильные и точные чертежи архитектора. А жизнь, как известно, имеет времена приливов и отливов, не зависящих ни от лунного календаря, ни от времени года и сверяющихся только с маятником твоей судьбы.

Но какая в сущности разница в том, нахожусь ли я где-то в приятном и родном мне месте или не нахожусь там, имею ли я необходимые и желаемые жизненные блага или не имею того, если я могу представить себе это всё в мельчайших подробностях? Вся разница будет лишь в том, что я никогда не смогу похвастать своей фантазией перед товарищем, да и чёрт с этим. Я просто представлю себе всё, что захочу. Окунусь в свою фантазию с головой, и тогда реальный мир перестанет существовать. Я его не запомню. В моей памяти за этот период отложится только моя фантазия. Прекрасная и безупречная.

Одно мгновение, и вот я уже сижу на обрыве скалы, у самого края. Подо мною, у подножья, расстилается панорама города, а всю даль покрывает синее Каспийское море. Я не слышу голосов и стонов, не слышу лая овчарок и немецкой речи. Только воздух, свежий, прохладный воздух доносится с моря до меня. Он вокруг и повсюду. Километры, тонны свежего и прозрачного, свободного воздуха стихии. И я хочу раствориться в нём, стать им, исчезнуть с места и ощутить себя везде. Заменить себя им и стать свободным. Пока свобода в моей душе, я не могу быть пленён.

Утром, как только встало солнце, нас уже шла огромная людская колонна, растянувшаяся на километр передо мной и после меня.

Едва приподнимая ноги выше, чем нужно для того, чтобы переступить через неровности русских дорог, мы плелись на запад, с каждым шагом покидая свою землю. С каждым шагом становясь ей чужими. И, может, даже было бы правильнее сигануть в сторону, как тот солдат, и остаться на этой земле навсегда. Хоть мёртвым лежать, но на родной земле.

Колонна шла молча. Петь строевую не было сил. К тому же конвоиры не вполне понимали смысл русских слов, и каждая фраза вызывала у них подозрение и принималась за заговорщические условности. По этой же причине наше порядковое положение в строю всё время менялось.

Никто из нас в точности не знал и не мог знать, куда нас ведут. Немцы вообще были немногословны. Уж тем более и мысли у них не возникало, чтобы посвящать русских в свои планы. Среди пленных же бродили разные слухи. Говорить в открытую, во время хода колонны, запрещалось. Переговариваться, заводить знакомства, жаловаться и обмениваться мнениями можно было только на постое ночью. Разговором, рваным на мелкие клочки, которые по отдельности представляли из себя трудно переводимые, лишённые смысла фразы и слова, а вместе составляли одно конкретное предложение, мы обменивались соображениями по поводу нашей участи.

Пленные солдаты, большей своей частью малограмотные крестьяне, тогда и не знали о существовании нацизма. Они не разбирались в мировой политике и имели о ней довольно однобокое представление, в основном полагаясь на пламенные речи агитаторов.

Кто-то божился, что точно знает, будто нас ведут на расстрел, на непременно и поголовную гибель. Но это мнение казалось мне абсурдным. Оно было рождено животным страхом и сеяло только судорожную панику среди пленных. Все, кто верил в это, пытались бежать. И это была их гибель. Немцы всегда убивали на месте. Незачем было кого-то куда-то вести. Слишком хлопотно, да и не нужно вовсе.

Иные утверждали, что нас взяли в заложники для последующего обмена на пленных немцев. В этом случае нас должны были довести до границы, не дальше. Дальше не было смысла.

Пленных, я имею в виду нашу численность, не берегли. Помимо того, что народ таял от голода и потери сил, немцы стреляли во всех, кто хоть как-то проявлял себя среди других. Пока мы безропотно шли все вместе, всё было тихо и спокойно, но стоило только кому-то засеменить и отстать от своего ряда, как несчастный тут же становился снайперской мишенью. Так что версия об обмене вскоре тоже развеялась.

Немцы относились к нам как к скотине и даже хуже. У нас, в горах и на равнинных землях, чабаны перегоняют стада овец с пастбища на пастбище в поисках свежего корма, оберегая от дикого зверя и стараясь проследить за каждой головой. В этом у них есть прямой экономический интерес и, кроме того, чисто человеческая порядочность и ответственность. А здесь – нет.

Фашистам было совершенно всё равно, какое количество такого «скота» они доставят до места. Люди гибли в день по дюжине, и это только те, которых я успевал насчитать. Они просто падали в бессилие сделать следующий шаг, и по ним проходили толпы таких же пленных, но только ещё живых. После один из офицеров, которые сопровождали нас, едучи на моторах позади колонны, останавливал машину, выходил и стрелял в упавшего. Это делалось для того, чтобы никому не пришлось в голову симулировать свою смерть в надежде таким образом бежать. Тех же, кто пытался бежать открыто, отлавливали, сбивали группами в конец идущей колонны и там расстреливали всех разом.

Бывало, оглянувшись назад, на дорогу, простирающуюся далеко вдаль за нами, можно было увидеть на обочине, вдоль которой мы шли, людские тела.

Немцы, как народ аккуратный, растаскивали их именно по обочине. Поэтому я предположил, что за нами где-то ещё могла идти другая такая же колонна. В таком случае это несло в себе и устрашающий смысл.

Люди, видя, как запросто можно схватить пулю в затылок, начинали панически бояться спотыкнуться на дороге и упасть. Один тощий сержант в истрёпанном кителе и с перевязанной головой зацепился ногой за корягу, когда мы переходили небольшую речушку вброд, и упал лицом прямо в воду. Сию же секунду он принялся изо всех сил барахтаться, бить по воде руками, издавая дикие вопли, вперемешку с которыми выкрикивал: «Живой! Живой!». А подняться никак не мог. Немецкий конвоир так и застрелил его, не понимая, что он кричит.

Кто из пленных успевал, мог снять с мёртвого одежду или обувь для себя, в запас или взамен, чтобы продолжить идти дальше.

Спустя две недели пути случаев побега уже не было. Никто больше не хотел, да и не имел сил бежать. Выстрелы прекратились.

В пути нас не кормили. Мы, как собаки, глодали, что найдём по обочинам дорог. Жевали подорожник, клевер, другую траву. Ловили насекомых: бабочек, жуков, стрекоз. Что придётся, что успеем захватить, что достанется нам на привале.

Земля, по которой мы шли, после нас оставалась мёртвой и голой. Пленные съедали всё живое.

Понимая наше состояние, немцы разрешали идти медленным шагом и не торопили.

Никто не поднимал голодного взгляда от дороги, и если под ногами удавалось заметить что-то живое, оно тут же попадало в рот. Люди ели всё подряд, часто совсем не годное в пищу, и многие гибли. Но чувство голода было сильнее инстинкта самосохранения, потому что голод – это то, что снаружи, на поверхности. Голод – это то, что увидят, заметят твои глаза, что достанут, что поймут твои руки. Инстинкт самосохранения намного глубже в человеке. Он внутри. Зачастую его просто не успеваешь достать.

У половины пленных солдат открылись поносы, и из-за слабости они опорожнялись кишечник произвольно, прямо на ходу. И почти у всех крутило животы.

Вместе с этой адской болью взгляд всё равно шарил по обочине, а рука сама тянулась за любым корешком, какой только можно было достать.

Кончился август. За знойным летом пришла осень, а вместе с ней холодные северные ветры и дожди. Дороги превратились в слякотные, вязкие лужи. Мы утопали в грязевых потоках по щиколотку.

Многие уже шли босиком. И если вначале это было удобнее, то через несколько недель, когда пошли значительные заморозки и на землю упал первый снежок, ноги стало сводить судорогой. Промозглый холод пробирался внутрь, до костей. Идти стало невыносимо трудно, а после ночного привала в строй вставало всё меньше народу.

Мне казалось, что я физически не перенесу дороги. Каждый день представлялся мне последним мерилем моих жизненных сил и краем перед той пропастью, в которую за время пути уже провалилось почти две трети из нас. Каждый день я прощался с землёй под ногами, с небом над головой и со своими близкими в своём сердце. Но наступал мой следующий последний день, и я снова говорил ему «здравствуй», а за ним ещё один и так дальше.

Человек не должен знать свой последний день. Он должен жить, падая в глубину будущего, как в огромный тёмный колодец, не видя дна. Потому что, увидев дно своего колодца, он разобьётся досрочно. С такой же безысходностью у меня было моё бесконечное «завтра».

Конституция моего тела оказалась не лучшим образом подходящей для долгих походов. Во-первых, высокий рост и крупное сложение всегда требовали от сердца намного больших усилий для перегона крови, чем этого требовалось бы для человека среднего и низкого роста. Вторым и не менее главным недостатком моим было то, что я не был вынослив. Силы мои быстро иссякали. Это обстоятельство не дало бы мне выжить, если бы только я не имел способности к быстрому восстановлению сил. Я мог спать меньше, чем полагалось обычно, успевая отдохнуть и восполнить резерв энергии.

В первый месяц организм восполнял недостаток калорий за счёт моей подкожной прослойки жира. Она таяла, и уже скоро из-под кожи, как рифы у берега, начали проступать кости скелета.

К счастью, моё ранение в щиколотку на удивление быстро затянулось и больше не беспокоило меня. Когда повязка пришла в негодность и спала, на ее месте уже был гладкий овальный рубец.

Я оброс густой курчавой бородой, которая мне заметно досаждала. В жару кожа под ней обильно потела. К тому же не успел я заметить, как по моей голове, хоть сверху, хоть снизу, распространились телесные паразиты. Я чесался, раздирая кожу до крови. Через грязные ногти

в ранки заползала инфекция, оттого они непрерывно гноились и сочились слизистой сукровицей. Так было по всему телу. Я словно гнил с поверхности и сох изнутри.

Зима того года была самой суровой. Навсегда запомнил я её злой, ненавистный холод. От него на всю жизнь остался во мне этот страх перед изменением погоды. Эта память о страшном, косящем людей десятками холоде, от которого некуда скрыться и нечем защитить себя, вьелась глубоко мне под кожу.

Каждая клеточка организма имеет свою память. Надави на зажившую рану, и она вроде как снова болит. И теперь при первом проявлении северных ветров я начинаю плотнее кутаться в одежду и всё равно так же боюсь замёрзнуть.

За время похода я потерял счёт времени. Не знаю, шли ли мы десять месяцев, полгода или больше года. Пейзажи плавно перетекали один в другой, как и времена года, и мне казалось, что нашу колонну пустили по кругу земного шара.

Я могу вспомнить почти каждый день этой проклятой дороги, но, сколько было этих дней, не знаю до сих пор.

В каждом крупном населённом пункте, где мы останавливались, уже побывали немцы. А это всё ещё была территория СССР, и мне уже начало казаться, что в самой Германии никого больше не осталось.

Русские ничего своего не отдавали без боя, так что присутствие фашистов было заметно и ощутимо сразу. Все они были здесь. Впились в нашу землю, как кровососущие клещи, и не отступали.

Всегда подтянутые, в порядковой строгости, при полной амуниции и довольствии, в свежих гимнастёрках, выглаженных брюках-галифе и начищенных сапогах, они чувствовали себя здесь хозяевами. Было заметно, как и им непривычен этот холод, против которого у них нет никакого оружия. Но суровые испытания стихии не пугали их, а возмущали. Они именно возмущались русской непогодой, как возмущаются взрослые капризами ребёнка.

Они шли так же, как мы, под теми же сквозящими ветрами и метелями, кутаясь в тёплые платки поверх своих шинелей. Сама природа была против них, посылая летом палящий зной, когда их кожаные ремни тёрли им плечи через гимнастёрки, шерстяные брюки-галифе парили им ноги и демисезонная обувь душила ступни, и зимой – мороз, который досаждал не меньше. От этого всего они злились ещё больше и не гнушались всякой возможностью выплеснуть свою злобу на нас – голодных и усталых, которые ничем не могли им ответить.

Это поколение их народа было рождено войной и не могло породить ничего иного, кроме войны, жестокости и насилия. Это были люди, для которых убить – одно простое движение руки. Они не могли не действовать с другими точно так же, как поступали с ними. Сам их язык был словно приспособлен для войны.

Немцы ещё много лет будут отмывать свои руки от крови. Любой человек будет жалить потомков этого народа в ахиллесову пяту напоминаниями о чудовищном преступлении против человечества, которое, в свою очередь, всегда будет носить их национальные черты.

Эсэсовская форма, их машины и самолёты казались мне такими же основательными, как всё немецкое. Но я не хотел думать об этом в какой-либо мере положительно. Не хотелось даже воспринимать их людьми. Это унижало бы звание человека. Фашисты – это не немцы. Это особая нация.

Нет плохих и хороших народов. Убивая фашизм, мы только подтверждали его идеи. И ничего не укореняет так рабство в сознании толпы, как провозглашаемые с трибун идеи о свободе и равенстве.

Я всегда был убеждён, что высшее мерило человечности – это способность его к состраданию и участию. Так вот, такого здесь не было. Причём как с немецкой, так и с нашей стороны.

Из человека лучше всего можно сделать раба, выбив из него душу. Выдавлив все навыки разумной душевности, которые культивировались в нём на протяжении многих десятков поко-

лений эволюции, прогресса, демократических завоеваний, философских объяснений сути и культурного становления. Показав человеку его «хозяина» и принудив бояться, заставив трепетать и пресмыкаться перед грубой силой, можно легко ограничить сферу его интересов заботой исключительно о сохранности своего тела и сытости своего желудка. Так общество превращается в разрозненный механизм из отдельных винтов и гаек. Оно бывает уже ни на что не способным.

Человек – социальное животное. Когда он утрачивает чувство общности и ответственности друг за друга, им становится легко управлять. Он становится глуп, дезориентирован и беззащитен перед хорошо организованной силой.

Люди умирают. Умирают гении, великие творцы и философы. Гибнут дети, ещё не познавшие жизнь, и глубокие старики, пережившие свои зубы, волосы, глаза и память. Камни точатся в песок и разносятся ветром по миру. Народы и города стираются с лица земли. Всё истлевает. Только природа, умирая каждый год, оголяясь и сгнивая в земле, на следующий год возрождается заново в той же своей красе. Вновь на голых ветках набухают почки, снова распускаются молодые листья. Завязи опять появляются на тех же местах, чтобы снова созрели плоды.

В мире должно быть что-то постоянное. Не статичное, но вечное. В этом и есть великая суть и мудрость Вселенной.

Мы следовали мимо прекрасных природных пейзажей.

Земля оттаивала, освобождалась от снежного наста и вдыхала первый тёплый ветер нового года. Это была весна. Самое прекрасное время года.

Огромные по широте и простору поля открывались перед моим взором. Реки и маленькие речушки с прозрачной холодной водой текли и журчали, пересекая нам путь. Мы переходили их вброд. Промокнув насквозь по пояс, мы сушились, не останавливаясь ни на минуту, под лучами солнца.

Навстречу нашей колонне дул пронзительный, скользкий ветер. Моё расположение в строю было не самым плохим. Попав в подобные условия, тоже можно обнаружить некоторый комфорт. Всё относительно. Людям, идущим в голове колонны, было не в пример хуже. Они протаптывали путь всем остальным. Идти после них, а мне после нескольких десятков рядов военнопленных, было гораздо легче. Людские ступни словно утюжили поверхность земли. Они дробили земляные комки, вдавливали мелкие дорожные камушки, выносили на обочину ветошь и сухие сучья. Дорога после нас оставалась гладкой и широкой, как морской берег.

Люди, идущие «в голове» колонны, чаще гибли. Они впитывали в себя холод и дождь, подставляя стихии своё тело.

Примерно через месяц в строю негласно поставили такой порядок, что эта самая «голова» должна сменяться.

Я шёл в ряду первых три недели, хотя в сроках мне легко было ошибиться. По рассветам я считал дни, но цифры не держались в уме. Я всё время думал о доме и о родных.

У всех малых народов на земле, вне зависимости от их географического места расселения и других национальных особенностей, чрезвычайно сильны родственные узы. Так, чем меньше их национальная численность на планете, тем теснее они будут сплочены внутри своей общины и тем сложнее будут их взаимоотношения с внешним социальным миром.

Это чувство общности очень глубоко засело в сердце каждого представителя небольших этнических групп и народностей. Они стремятся сохранить себя как вид, отсюда эта приверженность к сохранению традиций предков, к родственным бракам и большим семьям.

Каждый маленький народ в душе уверен, что на самом деле именно для него крутится эта планета. И ни один не упустит возможности напомнить о своей национальной исключительности.

Немногочисленные нации более агрессивны и консервативны в своих устоях. Испокон веков наследие малых народов было лакомым кусочком для главенствующих держав, и сохранение его в самобытном виде до сегодняшних дней можно считать истинным героизмом.

С того самого дня, как над Вавилонской башней были нарочно рассыпаны все языки мира, поделив людей на национальные единицы, не прекращаются споры о том, кто же из них лучше.

Существуют свидетели, утверждающие, что в тот же день загадочный мешок с языками пролетал и над Дагестаном. Зацепившись за вершину горы Тарки-Тау, он получил небольшую прореху, откуда на землю моих предков и попала горсточка различных наречий.

Национальный признак на протяжении многих веков был определяющим фактором при взаимоотношении людей на Кавказе. Никто не хотел иметь дело с незнакомцем, не спросив предварительно: кто он по нации, из какого рода, кто его родители. И здесь сын уж точно отвечал за отца. О человеке составляли суждение, исходя из того, к какому тухуму он принадлежит, и дело едва ли обходилось без взаимных упрёков. Так, среди аварцев пользуются большой популярностью шутки о хитрости лакцев, даргинцы не пропустят случая посмеяться над горячностью аварцев, а кумыки обязательно заведут разговор о бахвальстве лезгин.

С характерной точностью каждый определяет для себя, кто свой, а кто чужой. Кому нужно помогать, а кого необходимо опасаться. И каждый из нас знает: пока мы вместе – мы сильнее. Одиночка – не значит ничего. Он никому не нужен.

Так и я, оторванный от своей земли, от своих корней, ничего не значу на чужой территории. Я здесь один и иду в толпе таких же, как я, одиночек.

Двое из первого ряда, в котором я шёл, не дожили до того дня, когда нас сменили.

У моего соседа за этот период отморозило пальцы ног. Они почернели, усохли и превратились в гниющие трупы на ещё живом теле. Он сам отрезал их маленькими кусочками, используя в качестве скальпеля складной ножик-брелок с почти совсем тупым лезвием длиной всего в три сантиметра.

Ему не было больно. Он кромсал уже отмершие куски плоти и даже шутил, хвалился своим спокойствием. Но никто из нас не смеялся. И в его глазах за улыбкой прятался ужас.

На деревьях уже набухали первые почки, когда по характерному типу постройки деревенских домов я понял, что мы дошли до территории Украины. По всему горизонту начали подниматься аккуратные выбеленные одноэтажные домики с четырёхскатной крышей, покрытой соломой.

Жители деревень и хуторов, вдоль которых проходил наш маршрут, клали по обочинам дороги небольшие горки из съестного.

Люди оставляли нам кто что мог: ломти хлеба из непросеянной муки, яблоки, морковь, тыквы, сырые клубни картофеля, в тканые тряпицы были завернуты небольшие куски сала.

Наша колонна шла, и каждый молча наклонялся к этой «кормушке», брал что-то и шёл дальше. И тот, кто взял уже с одного места, не брал с другого. Все понимали, что за нами тоже идут люди и им тоже должна достаться пища. Эту еду не трогали даже конвоиры, оттаскивая от неё своих голодных овчарок. Немцы не понимали, почему жители опустошённых деревень, которым зачастую самим нечего есть, кормят пленных солдат, но они считали, что от этого была им только выгода. Если бы русские сами не кормили своих пленных, все они померли бы от голода.

Мы прошли через оккупированный фашистами Харьков. В это трудно было поверить. Ещё несколько месяцев назад этот город был совсем другим. Теперь же – сожжённые дома, развалины от бомбёжек, всюду голод и смерть.

Из местного населения мы никого не встретили. Конечно, оно здесь ещё осталось, но все прятались по подвалам и бомбоубежищам, выходя наверх только для возможности перехватить где-то пищу и питьевую воду.

Мне запомнился один старик. Я заметил его почти случайно, посреди огромной свалки, так он в своём грязном ободранном пиджаке сливался с мусором. В его руке был металлический чайник с вмятинами со всех боков. Согнувшись над грудой барахла, он выбирал оттуда что-то и складывал в чайник.

Наша колонна как раз проходила мимо и достаточно близко. Но, видимо, старик плохо слышал. Возможно, был контужен от тех же бомбёжек и не заметил нашего приближения, иначе бы спрятался. Немцы иногда стреляли в таких бродяг, просто так, от нечего делать, вроде как для порядка, будто это и не люди были, а чумные собаки.

Увидев, наконец, наш строй, старик жутко испугался. Он замер, как соляной столб, и так и не шевелился.

Я запомнил его лицо. Мне оно точно в душу запало. В его испуганном и дрожащем взоре всё ещё чувствовалась стержневая, мраморная интеллигенция. Уж слишком он был аккуратен на этой помойке, воруя разбитый хлам.

Мне почему-то представилось, что он непременно должен был быть школьным учителем. Я видел его у доски с указкой и мелом, в пылу профессионального азарта и вдохновения разъясняющего ученикам скучные азы науки. И вот внезапно война, и он уже никому не нужен. Так же, как и его наука. Ученики разбежались и прячутся по сырым подвалам. Фашисты вторглись в нашу страну, как хозяева на скотный двор. Когда ещё всё восстановится?

Когда течение времени возобновится со своего прерванного мгновения? Когда дети позабудут звуки сирен и боевой тревоги? Когда развеется из памяти молодого поколения запах огня и пороха? Сколько сил предстоит на это потратить, сколько жизней ещё предстоит погубить во имя будущего мира? На все эти вопросы не отвечает ни одна наука. Сколько уроков не даёт история, в её книгах всё равно остаются белые параграфы.

Времена года плавно сменяли друг друга. Приближался тот день, когда мы должны были замкнуть год в пути. Нас взяли в августе. Теперь была середина лета.

За все месяцы тяжёлого и долгого пути одежда моя истрепалась, истёрлась, прохудилась и вконец истлела. Я дошёл до Германии в пыльных, испачканных кровью и смердящих лохмотьях. От меня пахло хуже, чем от невымытой скотины. Нести это на теле было невыносимо противно. Хотелось дорвать эту одежду в конце концов в маленькие лоскутки и скинуть. Но приходилось мириться. Никакой другой одежды не было.

Ещё будучи подростком, я всегда уделял своему внешнему виду большое внимание. Костюм я выбирал очень тщательно. Я был высокий, стройный и видный юноша. У меня были белая рубашка, брюки-галифе и высокие сапоги из мягкой кожи. Я носил каракулевую папаху, которая осталась мне после отца. Чтобы выглядеть старше и солиднее, я оставлял усы.

В погожий, досужий день я любил выйти из дома с небольшим блокнотиком и парой карандашей в кармане. За спиной в расшитом мешке, перекроенном из конской попоны, я нёс свой обед. Обычно он состоял из ломтя домашнего хлеба или лепёшки из серой муки и небольшого куса козьего сыра. По местной рецептуре и в связи с порядком долгосрочного хранения его всегда делали изрядно пересоленным, так что невозможно было обойтись без питья. В походную металлическую фляжку я заливал воды или холодного компота из кураги. В еде я не был прихотлив, и такой простой обед меня вполне устраивал.

Я спускался по узкой дороге между домов вниз, к подошве склона. Все, кого я встречал в селе по пути, вежливо со мной здоровались. «Салам алейкум, Парук, – говорили они. – Какой ты стал важный. Настоящий мужчина, на своего отца похож! Жениться тебе пора». А я улыбался и благодарил за почтение.

Спустившись к подножию, я проходил ещё далее по ровному, травянистому плато. Вдалеке, под тенью едва ли не единственного дерева в округе, которое своими раскидистыми, пышными ветками было способно создать прохладную тень, я соорудил небольшую скамеечку. В свободное время, когда ни по дому, ни по учебной части у меня не было никаких дел, а это время приходилось именно на жаркий полдень, я направлялся сюда.

Это место под палящим небом с налётом перистых облаков, с сухой, каменистой землёй под ногами и эта скамья из сруба были обстановкой моего собственного кабинета. И я работал. Не щадя усилий, прилагая всевозможные старания и не отвлекаясь ни на что, я рисовал.

Сначала моей натурой был вид родного села, раскинувшегося во всей красе перед взором. Для своих целей я таскал с собой старые отцовские блокноты, вырывая из них ненужные, исписанные листы. Таким образом, мне оставалась только некоторая доля чистого пространства, которой надо было распорядиться с умом.

Я не делал никаких набросков. Рисовал, что называется, «от угла до угла», перенося на бумагу всё, что вижу, в таком же порядке. Именно из-за этого мне было трудно разобраться в пропорциях и перспективе.

Частенько случалось так, что моё село, изображённое на плоскости желтоватой блокнотной бумаги, словно переворачивалось, будто дома его лежали не на склоне горы, а были построены каким-то образом на своде огромной арки, возведённой к небу. Или же крайние правые дома, условно с моей точки зрения, так же, как и крайние слева, выпирали так, что создавалось впечатление, будто село расположено полукругом. А иногда, начиная свою зарисовку с левого края листа, я, к своей досаде, вскоре замечал, что выбрал настолько большой масштаб изображения, что из всей предполагаемой панорамы у меня умещалась от силы только половина, и притом не лучшая.

Много времени прошло, прежде чем я поборол эту многоголовую гидру, называемую «обратной перспективой». Но всё же методом совершенно не научным, а, скажем так, механически я просто приучил свою руку рисовать правильно. Тогда я ещё не знал, что настоящий рисунок начинается не на бумаге, а в голове художника.

Постепенно с кривых и узких, неудобных, тесных и пыльных дорог мы вышли на широкие и ровные. Под ногами стелились большие бетонные плиты, точно подогнанные друг к другу. Стало легче идти. Это была центральная Германия.

В следующую ночь после того, как мы пересекли границу, нас начали пересчитывать. Теперь мы проходили насквозь немецкие города и поселения, оставаясь на ночлег то в скотных хлевах, то в сараях, то в лагерях с военнопленными, расположенными по пути нашего следования.

Местные жители высовывались из окон своих домов, выходили на балконы и стояли на улицах, провожая взглядом нашу колонну. Женщины, все, как одна, светлые, точно моль, в опрятных, накрахмаленных передниках с оборками, с интересом разглядывали нас, русских. Нашу одежду, босые ноги и исхудавшие лица. Они не разбирали, кто из нас грузин, кто сибиряк, кто дагестанец. Для них мы все были пленными, и, наверное, им казалось, что мы варвары, свиньи, которые живут в пещерах и так и ходят везде в лохмотьях, необутые, зловонные и грязные.

Они презирали нас за наши обмоченные штаны, за вши в наших одеждах, за грязь под жёлтыми ногтями, за спутанные паклей волосы, синяки, гниющие ранения, обмороженные конечности и открытые раны до кровящего мяса.

Дети кидали в нас мелкой галькой и старались доплюнуть с места до кого-нибудь, причём особой удачей было попасть кому-то в лицо или хоть на одежду. Это была у них такая игра.

Я шёл и думал про себя, что время всё рассудит. Всё расставит по своим местам.

В лагерях, где мы ночевали, а всего на нашем пути их было два, нас выстраивали в общий строй и выдавали по одному половнику баланды. На вкус она была отвратительной и не годной даже на корм скотине, но мы ели.

Местные пленные и наши спали все вповалку в одном общем помещении, причём плотность была такая, что не каждый мог позволить себе растянуться во всю длину тела. Так, наутро значительная часть наших вшей оставалась с постоянными обитателями лагеря. Что интересно, нам самим от этого отнюдь не становилось легче. Всё тело так же зудело и чесалось от непрерывного покусывания и беспокойных передвижений этих мелких тварей.

Не знаю, как далеко мы забрались в Германию, но только крупных городов на нашем пути встречалось немного. Все уже понимали, что до конечной точки нашего маршрута уже недалеко, но только радоваться этому или огорчаться, никто не знал.

Почти три четверти всей численности нашей колонны военнопленных погибло по пути сюда. Что могло ждать нас, выживших, на чужой земле? Это было всё равно что другая планета, на которой мы были людьми низшего сорта. Люди-рабы, которых стали бы использовать на самой тяжёлой работе, на износ, на вынос вперёд ногами.

Человек, оторванный от своей родной земли, – как лист, слетевший с ветки дерева. Он несётся ветром по воле стихии, никому не нужный и ни на что не вольный.

Я впервые покинул свой родной край, когда меня, восемнадцатилетнего юношу, призвали в ряды Красной Армии. По распределению я попал в танковые войска. Часть, в которую меня определили, располагалась близ Хабаровска. Достаточно далеко от Дагестана.

Я обрадовался, когда узнал о распределении. Думал, теперь весь Союз проездом. И был чрезвычайно горд, что меня призвали.

Добираться из Махачкалы на поезде пришлось почти месяц.

На месте, в гарнизоне, все было уже совершенно другое. Люди общались между собой иначе. Иначе задавали вопросы, по-другому шутили и вели себя совсем не так, как было принято у нас.

Я впервые столкнулся с чуждым мне воспитанием и укладом жизни.

Многое казалось обидным и даже оскорбительным в повседневном поведении сослуживцев. Я не пил водку. Долгие годы у нас этому строго препятствовала религия, а после утверждения Советской власти в сущности мало что изменилось в сознании человека, воспитанного на обычаях предков.

Обычный человек грубого и сурового труда, чабан, ремесленник, мастер или земледелец не может себе позволить такое. Семьи в горах у всех большие, а работают преимущественно мужчины, так если они будут пить, на чём будет держаться тухум? Исключение составляют только праздники, такие как свадьбы и случаи рождения в семье сына. Да и там подают обычно молодое вино или бузу.

Настоящий горец никогда не пьянеет. Такое, конечно, может случиться с любым, но в таких редких случаях, что несчастный прослывет позором на всё селение. Так что он не рад будет своей слабости.

То, что русские пьют много и часто, мне не нравилось. Я считал это занятие недостойным для взрослого, разумного мужчины.

Ещё что удивило меня, так это поведение русских женщин. Они могли запросто вступить в разговор на улице с незнакомым. Без жеманства, смешков, переглядок и ненужного стеснения. Иные же, простоволосые, с непокрытыми головами, ходили мимо нас важно, точно гусыни. Я никогда не говорил с ними. Меня душило стеснение, да и вообще какая между нами может лежать общая тема, чтобы можно было её обсудить?

Видимо, и меня все вокруг принимали за какого-то дикаря.

– Скажи что-нибудь на дагестанском, – как-то попросил меня сослуживец из любопытства.

И каково же было его удивление, когда я объяснял незадачливому товарищу, что в Дагестане проживает более тридцати коренных народностей. А у каждой из них существует не только свой язык, но и в каждом ауле зачастую бытует своё наречие.

– Порой соседи, жившие в сёлах, расположенных друг от друга всего в километре, не понимали друг друга, хотя оба и относили себя к одной нации, – объяснял я, и меня слушали даже с интересом. – Множество таких высокогорных селений потеряло свой язык. Он не дошёл до наших дней.

– То есть как это? – удивлённо спросил меня кто-то из молодых.

– А вот так. Умерли старожилы села, а молодёжь просто приспособилась употреблять в разговоре более распространённое наречие крупного населённого пункта или райцентра. Так больший язык поглотил меньший. А если интересно насчёт письменности, то скажу, что в небольших высокогорных аулах её не было вовсе.

– О! Так это о каком же ты веке, дружок?

– О том, что был до революции.

– Ну да, рассказывай! В древнем Египте фараоны всякие писали свои закорючки, а здесь, значит, нет.

– Совершенно точно вам говорю, что не было. Как и не было своей денежной единицы.

– Ну, ладно с этим. А на *дагестанском* языке сейчас всё-таки кто-нибудь говорит?

– Да я толкую вам, что нет. Такого языка – *дагестанский* – не существует вовсе. Дагестан, Страна гор, – это удивительнейший край, и если об этом ещё кто-то до сих пор не знает, то только оттого, что жителей наших земель всегда отличала исключительная скромность. И до сих пор, сколько живу на свете, точно не могу дать себе ответ на вопрос: понял ли я эти великие горы, постиг ли их суть и постиг ли её настолько, насколько она есть велика?

Из моей подробной и увлечённой речи мало кто извлёк для себя суть, но никто больше ни о чём меня не спрашивал.

Меня же тогда в основном занимало моё основное целевое занятие, а именно военная подготовка. Мы изучали оружие.

Во все времена главное назначение его было убивать людей. И чем лучше, эффективнее, быстрее оно это делало, тем больше ценилось и было востребовано.

Но всё же главная сила в любой войне – это не танки, не самолёты, не машины и не автоматы, а люди. Только они могут спасти или убить. Выиграть или проиграть.

Война – это практика насилия.

Война – это архаичный вид развлечения. Это всегда массово, всегда интересно, опасно и зрелищно для тех, кто смотрит на карту военных действий сверху вниз. А уж кто там с кем воюет и уж тем более за что – не важно.

Война – это парадокс существующего мира. Потому что всё человечество со дня своего основания стремится к высшему и наиболее гуманному способу разрешения конфликта. К бескровной договорённости, к дипломатии, к диалогу. К пониманию. Но, как ни удивительно, чем более гуманно и образованно общество, тем более жестоко оно.

Реверсия насилия. В далёкие времена наших пещерных предков один убивал другого в бою для того, чтобы не погибнуть самому, чтобы добыть себе пищу, отнять чужое жильё или имущество для своего блага и для блага своей общины. У них не было возможности убивать сотнями, тысячами, сотнями тысяч. Теперь убивать десятками не страшно и не совестно. Убить единицу куда трудней. Всю жизнь будешь вспоминать его и проклипать судьбу свою за эту роковую встречу.

Чем более умён человек, тем больше нужно ему крови. Тем изощрённее его труд убивать и тем искуснее он в этом деле. Тактика, стратегия, военное ремесло – всё это, по сути, только теория убийства. Наука о том, как убить своего противника быстрее, нежели ему удастся убить тебя.

Наше поколение было поколением выживших в смертельной схватке. Но войны – это позор цивилизации! Как и любое другое проявление насилия. Удивительное сходство между всеми варварами, захватчиками и оккупантами для меня заключалось в их непрременной твердолобой уверенности в своей правоте. Ни у кого из этих извергов между извилинами не промелькнуло и мысли о том, что они могут оказаться неправы или несправедливы в чём-либо. И также единственным сходством между двумя воюющими сторонами можно поставить то, что обе они уверены, что их дело правое, что в корне является ложным сразу с обеих сторон.

В войне не может быть победителей хотя бы потому, что это война. Обоюдное согласие на убийство. И нам бы следовало не только перестать тыкать всем в лицо фактами участия в этой бойне, но и устыдиться самой возможности её возникновения. И совершенно не важно в этом случае, кто победил. Ведь это была не игра. Это были людские жизни, человеческие кости, мясо, в котором застревали пули и осколки снарядов.

Возможно, что когда-нибудь про нас скажут: «Это было поколение убийц». И это будет правдой. Но надо попытаться во что бы то ни стало не повторить эти ужасные события, только в этом случае мы сможем претендовать на уважение потомков. Сможем оправдать себя перед лицом века.

Теперь люди идут на войну за чужие идеалы, за чужие амбиции, за лидера, но не за себя. «Я умру за него», – орут они в пылу! Будто матери их мучились, рожая, именно для этого.

XX век наверняка останется в истории как век грандиозных личных амбиций. На всё наше многомиллионное государство приходилась по сути одна «Личность», чьи интересы, решения и мнения ставились превыше всех остальных масс. В нём одном или среди небольшой кучки приспешников словно концентрировались все свободы страны, и они распоряжались ими, как хотели.

Близился конец пути.

В последний день нашего маршрута, перед тем, как расположиться на ночлег, нас всех построили в одну шеренгу. Больным велели выйти вперёд на два шага. Все решили, что хворых направят в санчасть где-то поблизости или распределят куда-то на лёгкий труд. Здоровых среди нас почти не было. Каждый был в недомогании и истощении.

Моё состояние едва ли можно было определить нормальным. Я хотел шагнуть, но удержался только оттого, что был наслышан о немецких больницах для военнопленных. Человека там не лечили и делали всё, чтобы только лечить его уже не пришлось никогда.

Тем не менее из строя вышло почти полсотни. Тогда их отвели в сторону, а остальным приказали идти дальше. И только когда мы тронулись с места, смысл этой затеи стал очевиден для всех. Немцам не нужны были больные и калеки в лагере. Нас вели туда работать.

Тех пятьдесят человек расстреляли за одну минуту прямо у нас на глазах.

Все пули вошли аккурат в свою цель, как начинка в мягкое тесто. Люди, которые прошли со мной вместе все эти вёрсты и мили, километры дорог и множество препятствий, те, которые выжили в суровых условиях, в голоде и нечеловеческих трудностях этой каторжной дороги, были запросто расстреляны.

Зачем было всё это? Ведь и конвоиры видели в рядах стариков и раненых, почему они не расправились с ними сразу, не было ли так человечнее, если в таком контексте вообще допустимо это слово? Но что толку жить теперь нам, всем остальным? Что за жизнь ожидает нас на вражеской земле? И все ли из тех, кто остался в живых, не пожелали бы себе такой же смерти? Но как же всё-таки это глупо. Ведь я уверен, что и у тех, кто встал сегодня к стенке, сохраняя

лась надежда на жизнь. И когда в них стреляли немецкие автоматы, они убивали сначала эту надежду, а только за ней уже падали тела.

На следующее утро наша колонна дошла до конечного пункта. Это были казармы с высоким сплошным забором, одними железными воротами и четырьмя вышками по углам огороженной территории. На каждой вышке прожектор и немец с автоматом наготове. Главный среди наших конвоиров выступал перед начальником лагеря с докладом. Мы стояли и робко оглядывались по сторонам.

Я думал, что теперь, если нас оставят здесь, уже должны лучше кормить, назначив хоть какое-то довольствие. И ещё я мечтал о бане. Я боялся, что до меня доберётся чесотка, которая была здесь повсюду, впрочем, как и обилие другой хвори. Пусть без мыла и пара, но чтоб только ощутить, как проточная вода смывает с тела весь этот зловонный и гниющий мусор.

Тем не менее надежды на лучшее возвращали в меня жизнь. После долгого, нечеловечески изнурительного пути, после голода и унижения мне уже должно было быть всё равно, как ещё смогут истязать мою плоть и унижить мой дух. Казалось, что дальше и некуда. Но человеку свойственно надеяться на что-то приятное даже в самом отчаянном и горестном положении. Если бы я не думал о чистой душе и хлебе, уже давно бы испустил дух.

Во время пути во снах мне часто виделось, как я кусал свежий хлеб. Только-только кто-то (а я имел сильное подозрение, что это была моя мама) испёк его особым, старинным способом в комнатной печи, мы называли её корюк, прямо на горячей, огненной золе. Огромный хлеб, какой пекут на всю семью, был у меня в руках, и только для меня одного. Я ощущал это так явно, что мне даже казалось, что я слышу, как он пахнет, чувствую своими пальцами, насколько он горяч. Настоящий дагестанский хлеб из печи с хрустящей корочкой, чуть подсоленный и пахнущий домом, свежим горным ветром, золой от сухих веток и доброй мукой.

Я вгрызался в его плоть и перебирал медленно между языком и зубами его мякоть. Я рвал огромные куски, и они помещались у меня во рту, и я глотал их, от волнения не успевая разжевать. И просыпался в страхе, когда мне вдруг казалось, что кто-то намеревается отнять у меня этот хлеб.

Теперь, свысока и издали пересматривая в воспоминаниях былое, я всё же не могу не заметить, что какая-то слабая ниточка надежды никогда не покидала меня. Это была даже пусть лёгкая паутинка, видная не каждый раз, но она была. В душе я всегда верил в то, что мне уготовано нечто большее, чем смерть от голода и гноя в скотских казармах. Что есть для меня другая жизнь и когда-нибудь настанет мое избавление.

Человеку свойственно подменять свои воспоминания. Словно части мозаики, которые никак не стыкуются друг с другом, требуют замены, можно заменить один осколок и благодаря этому склеить целый фрагмент. Возможно, так делал и я. И теперь мне только кажется, что во мне, сыром, грязном, забитом, трясущемся и голодном, была всё же эта высокая, благородная и возвышенная вера. Всегда ведь хочется сохранить чистоту внутри, именно за утрату которой тебе впоследствии и бывает так стыдно.

В лагерьном дворе нам всем велели раздеться догола и сдать свою одежду. Немцы её просто сожгли во избежание распространения заразных эпидемий среди заключённых. Нас принялись сортировать. Стариков, а это уже после сорока, причём только на вид, отделяли вправо.

Надо заметить, что теперь даже самому молодому из нас невозможно было дать никак меньше тридцати.

В левую сторону определяли всех остальных, за исключением калек, раненых и евреев.

Я был обрезан согласно мусульманскому обычаю. Именно по этой причине меня ошибочно оттолкали к евреям. Но они, конечно, не признали во мне своего. На меня стали коситься.

Через пару минут ко мне подошёл один невысокий человек средних лет. Как я понял, он был главный среди еврейских заключённых.

– Ты кто? – спросил меня он с неприятным недоверием и гонором.

Я отвечал, кто я и где родился.

– Почему здесь? Знаешь иврит?

– Знаю фарси.

Он удалился к своим. Сообщил что-то и совсем скоро вернулся вместе с человеком примерно моих лет. Парень, который пылливо уставился в моё лицо, был в круглых очках с мутными линзами и с маленькой феской на голове.

– Откуда ты? – поинтересовался он, обращаясь ко мне на фарси, языке татов – жителей горного Дагестана.

Я всё объяснил и ему так же.

– Да, – подтвердил он для главного, – он жил в Буйнакске. Я слышал про его отца.

Главный еврей сдвинул брови, грубо схватил меня за предплечье и скомандовал:

– Пошли.

Он подвёл меня к немцам, которые всё ещё занимались сортировкой пленных, и обратился к одному из них по-немецки:

– Заберите его. Он не еврей. У нас его держать нельзя. Наши решат, что он шпион, и убьют следующей же ночью.

Так меня отправили совсем в другую сторону.

Предстоял карантин. Всем велели выстроиться в две отдельные шеренги для получения мыла и дальнейшего прохода в помывочную зону.

В общем, это был обыкновенный деревянный барак, находившийся также на территории казармы. Там был низкий, всего около двух метров, потолок. Прямо под ним по всей длине были проведены трубы с дырчатыми душевыми отводами, направленными вниз через каждые полметра. Света в бараке не было.

Мы зашли в тёмное помещение, где пахло плесенью и сырыми досками. За нами вошёл один человек в форме с презрительным выражением лица, таким, будто его поневоле заставляют копаться в отходах в то время, когда ему должно рисовать тирольские пейзажи на полотне. Он остановился у самой двери и жестами велел всем разойтись дальше от входа. Затем он крутанул несколько раз большой и скрипучий круглый кран, торчащий из трубы у двери, и через мгновение пошла вода. Вопреки моим скромным надеждам, она вовсе не была холодной. В этом не было никакой необходимости. На территории лагеря, как убедился я позже, прекрасно функционировала котельная, где трудились в непрерывном поту такие же заключённые-рабы.

Зажав в ладони небольшой кусочек мыла, которого, по расчётам практичных немцев, видимо, должно было хватить аккуратно на одну помывку, я не спешил применить его сразу.

Я стоял под бьющим мне в грудь потоком горячей воды и смотрел вверх. Для меня это было почти как чудо. Вода касалась моего тела, скользила вниз, затрагивая каждую клеточку моей кожи. Я упивался этой лаской. В тот момент мне не хотелось ничего более, вот только бы позволили мне так стоять час или два. Я сторожил каждую минуту такого покоя. Осознавая, что они недолги, я пытался насытиться каждой из них. Эти мгновения показались мне похожими на счастье. Слабое, хилое счастье...

Другие пленные оказались проворнее меня. Мой сосед уже смылил весь свой запас и стоял, интенсивно потирая себя руками, соскребая отросшими ногтями слоистую грязь с тела. Струпьями она ползла по нему вниз вместе с потоком воды и исчезала за решётками водосточков. Вокруг разносился удушливый, бьющий в нос горячий запах дуста.

Только теперь я заметил, как отошали люди. На них было страшно смотреть. Вокруг меня стояли живые скелеты, будто их из гроба достали. Сутулые, сгорбленные, с конечностями, похожими на сухие ветки, с торчащими рёбрами и выпирающими костями таза, с провалив-

шимися глазницами, с бледными, обветренными губами и с желтой, нездорового цвета кожей. И я в своем теперешнем виде совершенно не отличался от них.

Особенно оглядываться было не с руки, и я принялся за дело. Теперь возможно было дать генеральный бой всем моим постояльцам, которые поедом ели меня на протяжении всего нашего путешествия. В отросших, свалывшихся волосах головы они устроили целую колонию. Впрочем, и с волосами нам всем также пришлось вскоре расстаться. После мойки нас повели на дополнительную санитарную обработку, которая заключалась в поголовной стрижке и бритье под ноль. Потом всех вывели во двор и раздали униформу.

Это были комплекты из грязно-серного льна, включающие штаны свободного покроя и такую же мешковатую робу. Что меня удивило: всё было ново, чисто и даже выглажено. Вместо обуви дали деревянные колодки. Люди здесь и без того еле передвигались, делать же это в таких колодках стало намного труднее. Они были тяжёлые, как кандалы, и больно натирали ноги.

Все процедуры закончились уже под вечер, когда нас, как птенчиков из инкубаторов, всех одинаковой худобы, формы одежды и стрижки, загнали под крышу в казармы – обычное двухэтажное здание с низкими потолками и полусгнившим деревянным полом. Там мы и повалялись все без слов, без еды и без сил.

Так закончился первый мой день в лагере военнопленных Люкенвальд.

В ту ночь мне не хотелось думать, сколько ещё дней подстерегают меня в этом аду на земле. Я даже не помню, хотелось ли мне вообще проснуться когда-нибудь ещё.

Карантин продолжался десять дней. Всё это время нас не выпускали на общий двор и выводили только утром и вечером на прогулку в отдельно огороженный участок, примыкающий к нашей постройке. Там же нас и пересчитывали.

Это было невероятно вообразить, но количество заключённых, зафиксированных во время вечерней проверки, могло разниться с утренней отметкой на сотню, а то и более. Одни умирали прямо в казармах на своих нарах, других, по жалобе на недомогания, успевали отправить в санчасть, где они всё равно умирали.

Каждое утро к казармам на конной повозке подъезжала похоронная бригада. Её тоже составляли лагерные пленные. Обычно приезжало три человека. Один правил лошадью, а двое других таскали к повозке трупы. Остановившись у ворот, они заходили внутрь помещения и забирали всех с первого этажа. Мёртвых со второго этажа кидали во двор прямо из окон. Трупы падали на землю, и было слышно, как у них с треском ломались кости.

Извозчик никогда не оставлял своего места. Думаю, что он боялся, что лагерные забьют и употребят в пищу его лошадь.

В отличие от остальных пленных, эти трое были не такие тощие и выглядели здоровей. В одно утро я высунулся из окна и спросил извозчика: «Что вам дают?»

Тот набрал воздуха в грудь и отвечал:

– Дают буханку хлеба и три порции супа в день на каждого.

Я посчитал тогда для себя, что это очень хорошо.

– А куда увозите трупы?

– Хороним недалеко отсюда.

– Много работы?

– Роем одну большую яму на сотню, – пояснил он.

– Почему на сотню?

– Сотнями считать легче. Пока сотню не наберём, не закапываем.

– Так, значит, и метки никакой не ставите?

– Ставим крест, а немец там на своём пишет: «Сто русских пленных».

– А сколько уже таких крестов поставили?

– Думаю, что уже больше трёхсот будет.

Нагруженная повозка медленно выехала за ворота двора и вскоре скрылась из виду. А я всё смотрел ей вслед и думал, когда же на ней поеду я.

Когда карантин кончился, нас перевели в другую постройку внутри этой же лагерной территории. Там на первом построении всем раздали по половнику супа и ломтю хлеба. После нас завели в помещение и оставили так на весь день. Всё это время мы ждали, куда ещё нас направят, и в конце концов тревога сменилась голодным сном.

С рассветом нас разбудил оглушительный по своей высоте сигнал. Он звучал на одной ноте в течение нескольких минут, и только потом в помещение вошёл немец в военной форме с автоматом, дулом которого начал тыкать в пленных, расположившихся крайними у входа. Тогда я понял, что теперь каждое следующее утро, если оно будет начинаться для меня, то именно так.

Всех вывели на воздух и выстроили в один ряд.

Признаться честно, в тот момент мне было совершенно всё равно, что с нами намерены делать дальше. К тому времени я уже давно потерял себя, как потерял вкус и смысл жизни. С тех пор на время прекратилась моя жизнь, и началось глупое и бессмысленное, тяжёлое и отчаянное существование. Я должен был спрятать всё, что ещё оставалось во мне живого и человеческого. Затаить от них, заволочь в самый дальний, тёмный, медвежий угол, чтобы они не нашли и не убили. Чтобы никто не догадался. Чтобы выжить среди них, мне предстояло сделаться одним из них.

И вот эти страшные, бескровные люди, эти изверги с каменными лицами, с бронзовыми, медальными профилями в своей красивой, выглаженной форме идут, чеканя отполированными сапогами шаг по деревянному полу долгого, полуосвещённого коридора. Конец коридора утопает во мраке. По обе стороны множество дверей, и делегация останавливается перед каждой из них.

Во главе группы генерал с орденой атласной лентой и с зажатой в глазу линзой на цепочке. Он командует своему подчинённому, резко выбрасывая правую руку вверх перед собой. Тот моментально выбегает вперёд и отворяет дверь.

Это дверь моей комнаты в родном селе. Но внутри пусто. Только полумрак слегка разбавляет лунный свет из одного единственного окна. Под подоконником стоит кровать с пружинным матрасом. Сбоку шифоньер с зеркалом на дверце. Рядом письменный стол и стул при нём.

Делегация в немом недоумении. Закрывают эту дверь и чеканят к следующей. Генерал командует. Солдат отворяет.

Здесь много света. Вместо пола земля с мелкой выжженной травой, прямо перед дверью растёт большое дерево с раскидистой зелёной кроной и лавочкой в тени под ней. А вокруг опять ни души.

Генерал не считает необходимым зайти и только презрительно заглядывает за дверные косяки, чтобы получше осмотреть окрестности.

Вдалеке, на склоне горы видна панорама села. Потолка, конечно же, нет, и ему явно это не нравится.

Немцы закрывают дверь с оглушительным треском и идут дальше.

Снова команда хлётским басом, и следующая дверь со скрипом повинуется руке припешника.

В этой комнате пол, и потолок, и стены – всё есть. Напротив двери основательный дубовый конторский письменный стол, вдоль стен ряд стульев и кушетка. Генерал морщится. До него доносится запах цветов. Это цветы июня, но он не разбирает этого. Ему больше необходимо увидеть их самих. Но где же цветы?

Генералу приходится войти внутрь. И, только оглядевшись, за самой дверью он замечает маленькую тумбочку с резными ножками, окрашенную белой краской. На ней и стоят благо-

ухающие цветы в глиняной балхарской вазе. Генерал криво ухмыляется и делает шаг ближе. Смотрит на цветы, переминаясь с пятки на носок, так, что под ним истошно скрипят половицы.

Цветы вызывают у него какое-то особенное подозрение. Они безупречно свежи, будто только кто-то сорвал у них жизнь и принёс продлить её в эту вазу.

Он снимает кожаную перчатку со своей руки и берёт один цветок. Подносит его ближе к лицу, чтобы убедиться, что он настоящий. Ощущает разительный флёр, морщится и растирает цветок в ладони. Но когда он раскрывает её, чтобы смахнуть распавшиеся лепестки, обнаруживает, что его ладонь пуста, а цветок так же стоит на своём месте в вазе. Со злобой он рявкает, натягивает перчатку и выходит.

А за следующей дверью его будут ждать разрывы снарядов, крики раненых, пулемётные очереди, комья разлетающейся мокрой грязи, стоны, пронзительный звон, бормотание турбин над головами и вечная музыка войны. В общем, сущий хаос. И здесь искать нечего.

Генерал захлопывает дверь и смахивает с мундира частички осевшей на нём пыли. Протирает монокль и продвигается дальше по коридору вглубь. Дальше, дальше, пока вся делегация не уходит в темноту.

На второй день после карантина нас опять построили во дворе, посчитали и завели обратно. Так было ещё следующие семь дней.

Весь день мы маялись в небольшом барачном помещении, где решётки покрывали маленькие высокие окна и стаями под потолком кружили мухи и слепни, дожидаясь, пока мы уснём и перестанем сопротивляться их укусам.

Кормить нас и вправду стали, только из рук вон плохо. Давали жиденькую баланду, но горячую, так что для внутренностей было вполне сносно. Её тепло разливалось по всему телу, что вызывало ощутимый прилив энергии. Но энергия так же быстро таяла. Её хватало только на несколько часов. Потом усталость и голод снова проявляли себя. Как две ненасытные овчарки, они глодали конечности, отчего те наполнялись сонным свинцом. Мысли пропитывались удручающей тяжестью.

В работах нас не использовали. Все ждали чего-то неопределённого и оттого пугающего.

Конечно, оставалась надежда. Думалось или, скорее, хотелось думать, что со дня на день нас освободят. Но всё оставалось по-прежнему, и даже эта надежда, как маленькая восковая свечка, отгорала свою силу и постепенно гасла.

Ещё не прошло и двух лет, а я уже забыл о том, как это – жить без войны. Сидеть у окна в своём собственном доме и смотреть на голубое небо. Есть обыкновенную человеческую пищу. Слушать тишину и упиваться этим беззвучием.

Я вдруг задумался: ведь здесь нет тишины. Никто не разговаривает толком, не звучит музыка, никто не танцует, а тишины нет. Днём её съедают стук рабочих молотков, шум мельничных жерновов и крики надзирателей. А потом, когда все пластом покрывают свои койки, обязательно всю ночь кто-нибудь стонет, точно раненая корова. Это звук тупой беспомощности, действующий на нервы и угнетающий. И ты думаешь совсем не о том, как облегчить его страдания, а о том, когда же он сдохнет, и все смогут спокойно заснуть. И то же самое будет, когда стонать будешь ты сам. И сам же будешь желать быстрее сдохнуть. Неужели когда-нибудь мои ноги привыкнут обычно идти, гордым и ровным шагом, а не бежать, не пробираться, не карабкаться и не ползти.

Теперь часто я задумывался про себя: сумею ли я когда-нибудь забыть всё это? Забыть бомбёжки и стрельбу, косящую очередь, тревогу и постоянное чувство опасности, ночлежки в окопе под дождём и в любую погоду, грязь, пыль, копать, холод. Избавлюсь ли я когда-нибудь от своих ночных кошмаров?

Вот уже тысячу раз в своих клочковатых, прерывающихся и беспокойных снах я вижу войну. Я вздрагиваю от разрывов снарядов, которые грохочут у меня в голове, и сжимаюсь

в комок от боли, причинённой мне пулями, которые вообразил я сам. Меня забрали оттуда, вывели и поволокли по этой бесконечной дороге. Они спасли моё тело, но душу мою насмерть ранила война. Она теперь во мне, внутри, в самом мозгу у меня бушует и клокочет разрядами пламенных залпов и запахом пороха. Похороню ли в своей памяти всех убитых на моих глазах и убитых мною? Будет ли у меня когда-нибудь обычная жизнь или такое никогда не забывают? Неужели я на всю жизнь останусь калекой с израненным сознанием, не способным на нормальные человеческие чувства?

Человеческая память – всё равно что постельная простыня. Когда ты мал, она чиста и без единой складки. Но ты живёшь и взрослеешь. И с каждым прожитым годом на твоей простыне всё больше прорех и латок, всё чаще на ней пятна твоей крови, пота, всё заметнее на ней грязь. И к концу жизни ты лежишь на серых, nepотpeбных лохмотьях, но не в силах встать и сменить их. Смотришь на них, и тебе противно от одного только вида. Но вдруг ты с ужасом обнаруживаешь, что сроеся с этой проклятой простыней намертво и она тебе всего дороже.

В один из дней в наш барак зашёл высокий и статный немец с белыми усами. Указав пальцем на нескольких человек, видимо, произвольно, он приказал им следовать за ним. Они ушли и в барак больше не вернулись.

На следующий день всё повторилось. Зашёл тот же усатый немец, указал на нескольких человек, они вышли, и больше никто их не видел.

Среди пленных поползли самые разные слухи. Кто-то говорил, что людей начали расстреливать, кто-то утверждал, что нас всех переведут в другой лагерь.

Немец с белыми усами заходил каждый день, и после его визита в бараке становилось всё свободнее. Наконец, очередь дошла и до меня.

Я вышел вместе с очередной группой из пяти человек. Нас повели через весь огромный лагерьный двор на другой его конец, где располагалась одна из немногих на этой территории капитальных кирпичных построек в два этажа. Зашли мы все разом, и уже в небольшом тамбуре, внутри, нас остановили. С обеих сторон встали солдаты с оружием.

Наш провожатый проследовал дальше по узкому коридору и исчез за большой двустворчатой деревянной дверью в самом его конце.

Через минуты три он вышел и прямо с порога крикнул одному из охранявших нас солдат. Тот, выбрав крайнего из нашей компании, небрежно вытолкнул его вперёд и указал, чтобы тот шёл к двери. Пленный товарищ нехотя и устало повиновался. На другом конце коридора усатый немец затолкал его внутрь комнаты.

Мы стояли молча и ловили каждый звук. А мне всё время казалось, что вот-вот должен раздастся выстрел. К этой «музыке войны» никогда невозможно привыкнуть. Она поселяет в сердце вечный страх, притупить который могут только долгие годы молчания.

Уже через пять минут в коридорчик снова вышел немец и потребовал к себе ещё одного. А третьим был я.

Я волновался. От всего этого ожидания, томления и полнейшей неизвестности чрезвычайно сдают нервы. Это было для меня всё равно, что та же пытка, только без насилия, истязаний и кровопотери. Уже тогда я стал нервный, как электрический скат. Я зашёл в эту дверь. То, что я там увидел, обмануло все мои надежды и страхи.

Я оказался перед большим и длинным столом, за которым плечом к плечу сидели немецкие военные разного чина. Все входили в старший офицерский состав. Они смотрели на меня.

Комиссия расположилась напротив стены так, что из-за яркого света, бьющего в высокие окна за ними, лиц было не разглядеть. Все они были в тени своих собственных силуэтов. Тем не менее я именно чувствовал, что меня пристально разглядывают.

Некоторое время все молчали и посматривали в какие-то бумажки, передавая их из рук в руки. Затем один из них, майор, сидевший с краю, обратился ко мне, читая с листа на ужасно исковерканном русском.

– Фарух Мур-та-залиевиш Дибироф! – важно и с надменностью провозгласил он. – Да? Я подтвердил.

– Кем вы работали до войны? Какую вы иметь специальность? Отвечать.

Такого вопроса я никак не мог ожидать и от внезапности даже не успел сообразить, зачем им нужно это знать.

– Я освоил профессию механика в техникуме, – начал я.

– Отвечать! Громко! – перебил немец.

Я повторил:

– Я освоил профессию механика в индустриальном техникуме. Неполный год работал на заводе. Также имею способность к рисованию.

Даже не знаю, почему я упомянул про рисование. Возможно, мне захотелось, чтобы они увидели во мне человека значимого, способного. Чтобы поняли: все мы – пленные волею судьбы, все мы люди.

Мой ответ не произвёл никакого впечатления на комиссию. Человек, обращающийся ко мне, перевёл его всего в несколько слов. Все присутствующие с такими же унылыми лицами продолжали смотреть на меня.

Переводчик тем временем задал следующий вопрос:

– Как вы относитесь к советской власти? Отвечать.

Вот где я вздрогнул. На мгновение у меня промелькнула мысль, что всё это часть какого-то масштабного фарса, целью которого является обличение и уничтожение всех, недовольных режимом. Может быть, и войны никакой на самом деле нет. И всё, что случилось со мной и ещё с миллионами граждан, всё это только один из манёвров правящего режима?

Тем не менее я продолжал отвечать с абсолютной прямоотой, перебивая своё волнение.

– Я горжусь, что являюсь советским гражданином и живу в советской стране.

Перевели и эти мои слова. Члены комиссии переглянулись без различимых эмоций, и вскоре последовал ещё один вопрос:

– Фарух Дибироф! Ми создаём особую национальную армию. Считать ли вы себя способным войти в её ряды? Отвечать.

– Я мирный человек. Я – не военный, – спокойным, ровным голосом постарался объяснить я. – И притом я дал присягу Красной Армии.

Видимо, мои слова не поняли, и переводчик ещё раз, но вовсе не командным, а простым, ровным тоном попросил меня:

– Отвечать.

Я чётко и твёрдо провозгласил: «Нет!».

Это не переводили. Я увидел, как немцы устало качали головами, повторяя: «гут, гут».

В тот же момент в дверях появился знакомый белоусый конвоир, который вывел меня через другую дверь. На выходе из здания он передал меня под надзор немецкому солдату. Потоправивая в спину холодным дулом ружья, меня повели дальше по узенькой тропинке вдоль самого забора с колючей проволокой и за ворота. Дальше по прямой, истоптанной дороге, ведущей в открытое поле.

А который час? Непонятное и отчаянное желание узнать, во сколько оборвётся жизнь.

Я шёл, подняв голову высоко к солнцу, которое уже высоко взошло над этим миром и посылало ему через сотни световых лет миллиарды тонн своей горячей любви.

Как жаль мне было покидать всё это! Как больно было уходить и оставлять за собой тысячи вопросов, надежд на встречу и возможное возвращение. Убитый здесь, я навсегда и для всех просто пропаду без вести. И дома меня будут ждать и уже давно не ждать одновременно.

И я буду словно стремиться обратно домой и бежать оттуда во все четыре стороны, нигде не находя себе покоя. Это мучительное чувство неизвестности, оно хуже всего.

Я посмотрел себе под ноги. Мои худые, босые и грязные стопы топтали дорогу, собранную из горячий, седой пыли, сухой травы и мелкого щебня. Но ведь это она, это моя дорога к дому. Вон там, далеко вдаль, так, что не видно глазу, стоит мой старенький дом, и скоро я буду там.

– Что ты думаешь, не будет, – услышал я вдруг из-за спины.

Я опомнился и оглянулся назад. Солдат смотрел на меня с неизменным лицом, прямо в глаза. Я не мог понять, что у него на уме. Мне слышались эти слова или нет? Почему он не убьёт меня прямо здесь? Зачем ведёт так долго? Куда?

Опустив взгляд перед собой под ноги, я просто шёл дальше.

Глава вторая

Мама

Что такое имя? То, что ты есть, или то, что ты значишь для других? Едва ли ответ придёт сразу. Меня назвали Парук.

Решение об этом было принято вразрез со всеми правилами и обычаями, неуклонно диктующими давать новорожденным имена их усопших предков. В том была одна воля моего отца. Так не звали никого из моих родных, будь то почившие или здравствующие до того дня, и некоторые из собравшихся на торжество родственников даже не слышали такого имени. Немногие знали другое – Фарух. Это персидское имя осталось на нашей земле наследием от арабов-завоевателей.

В торжественный день, как часто вспоминала потом мать, старший друг отца взял меня из люльки в свои большие, крепкие руки. Я кричал и точно старался освободиться от тугих пелёнок, которыми меня перетянули. Он встал у изголовья праздничного стола, собранного по случаю рождения в доме Дибировых первого сына, и произнёс на аварском: «Пусть будет ему имя Парук; и впредь все называйте его Парук и не иначе».

Я из аварцев. Аварец по духу, ровно так же, как аварец по происхождению. Мой отец, дед, отец деда, все были аварцы. Но вот ведь удивительно, само это название, «имя» чуждо народу, которое носит его вот уже более пятнадцати столетий.

Откуда оно возникло, доподлинно не известно. Учёные-историки расходятся во мнениях. Какие-то источники утверждают, что моих предков прозвали так их соседи-кумыки. На тюркском наречии именно это слово «аваръ» или по-другому «аварала» означает беспокойный, тревожный, сварливый, вспыльчивый.

Возможно, мои далёкие родственники действительно очень уж досаждали своим соседям. Сами же они употребляли это название, обозначая выходцев из бывшей Аварии.

Другие же источники свидетельствуют о том, что Авар звали одного из правителей средневекового государства Сарир и, соответственно, имя перешло к его подданным. Но много ли вы знаете подобных случаев?

Тем не менее слово это прижилось, вошло в русский язык и в дагестанские языки и укоренилось повсеместно.

Так что же такое имя: то, что ты есть по сути, или то, как зовут тебя окружающие? А может, твоё имя – это твоя судьба?

Как бы то ни было, жизнь каждого человека начинается с его имени, как каждая книга начинается с названия. В тот момент, когда впервые было произнесено перед всеми моё имя, кто-то, кто есть и всегда будет над нами, достал с большой полки книгу и принялся читать её вслух.

Поезд довёз меня до Махачкалы.

Я вышел на вокзале и сел на скамейку у платформы, откинув голову, чтобы взглянуть на небо.

Был один из прекраснейших тёплых дней. Начало сладкого, плодородного месяца августа. Мысль о том, что лето уже клонит к концу, но ты ещё сможешь вдоволь насладиться этим августовским закатом, успокаивала меня и внушала душе простую радость бытия. С моря, которое билось о песчаный берег метрах в ста от железной дороги, доносился свежий бриз с пьянящим запахом чистой свободы.

Море. Я слышу, как оно шепчет мне свой приветственный мотив, и как рад я обмануться его мнимым радушием. Оно ведь для всех поёт одно и то же. Для всех одинаково стелет свои

волны и дарит прохладу с глубины водной толщи. Но только я сегодня так рад ему, как не рад никто больше из спящих вокруг на этом вокзале. Только я могу слушать теперь его с упоением.

Со мной солдатский вещмешок, в котором восстановленные документы и несколько личных вещей.

Что должен чувствовать человек, начиная свою жизнь с чистого листа? Радость обновления? Возможно. Страх перед неизвестностью? С той же вероятностью. А что, если у этого человека за плечами то, что он не может никому раскрыть и вынужден таскать, как рюкзак с тяжёлыми камнями?

Надеяться мне было не на что. Всё, чем я был, кончилось. Какое будущее я могу теперь себе обещать? Кем я стану теперь?

В городе у меня жила старшая сестра с мужем. В последний раз я видел её, когда уезжал на фронт, и за все эти годы ничего о ней не слышал. Её супруг ещё тогда был важным человеком в республике. Он должен дорожить своим чином, репутацией и благополучием своей семьи. И, конечно, такой родственник, как я, им теперь, мягко говоря, ни к чему. Всё это было совершенно понятно. Но что же теперь мне можно сделать?

Я вернулся, каков есть, виновный в том, что оказался в немецком плену. Это всё равно, что заразиться дурной болезнью. Неважно, как это произошло. Гораздо важнее сам факт, который неумолимо бросает на тебя тень презрения вместе с косыми взглядами окружающих. Я был виноват, хотя моей вины, по сути, в этом, наверное, было мало. Я был изгой в своём собственном Отечестве, и в моей биографии теперь была заложена бомба с медленным часовым механизмом. И я уже тогда понимал, что механизм этот когда-нибудь должен дать пуск.

Я просидел на перроне около получаса. Когда солнце основательно припекло, встал и прошёл в здание городского вокзала. Оно отделяло город от железнодорожных путей. Пройдя его насквозь, я оказался на привокзальной площади.

Но как мне теперь было добраться до села? В Махачкале не было решительно никакого транспорта, а путь предстоял неблизкий. Никак не меньше шести часов на автомобиле.

Дороги были пусты в обе стороны до самого края видимости. Вокруг сновал пеший люд. Женщины в платках, навьючив на спину огромные тюки, придерживали их сбоку одной рукой. Другой же они обычно должны были тащить за собой какого-нибудь заспанного ребёнка, который, в свою очередь, не глядя себе под ноги, ел кусок вчерашней лепёшки или чурека.

Торговые люди выделялись среди прочих глубоким загаром текущего сезона. Они везли за собой тележки, заставленные ящиками с арбузами и дынями.

Один старик с клюкой и котомкой за спиной на скрюченных коротеньких ногах пересекал улицу. Я следил за его перемещением, точно не мог оторвать взгляда. Он необычайно мне приглянулся. Старик проворно загребал ногами и издали походил на океанского краба, словно вышедшего с самого дна прошлого.

Несмотря на жару, на нём были папаха из каракульчи с матерчатым стёганым верхом и тёплые джурабы с загнутым носом, подшитые кожаной подошвой. Вид у него был деловой. Старик явно спешил куда-то, хотя, казалось бы, куда ему теперь? Но он был настолько естествен и понятен в своём наряде, своих движениях и манёврах, что, глядя только на него, я чувствовал себя так, будто и не было этих долгих минувших лет. Будто бы всё могло остаться прежним.

Махачкала действительно заметно опустела. Было в её просторе такое явное и внятное чувство вымытого осадка.

Было ощущение, что я стою не на полуденной площади, а нахожусь там в самое раннее утро. Будто основная масса населения ещё спит или нежится в полудрёме. Вот-вот грянет час, и улицы наполнятся рабочим людом, спешащими на заводы, фабрики, в конторы, в магазины, кабинеты. Но такого не произойдёт.

Этот город будет ещё долго спать своим полуденным сном: и все эти люди, которые могли бы разбудить его топотом своих ботинок, стуком сапог или летящей походкой лёгких модельных туфель, все эти люди, где теперь они? Их имена на могильных плитах, а жёны и дети их – в слезах. Как счастливы, должно быть, они, эти люди-герои. Никто не спросит с них, никто ни в чём не упрекнёт.

Говорят, что победителей не судят. Не потому ли, что некого бывает осуждать.

В архитектуре и остальном внешнем облике город не сильно изменился. Думаю, что для более наглядных изменений нужны потрясения существенной войны.

Война – это дело людей. Чтобы поколебались горы, чтобы реки повернулись вспять или море вышло из своих берегов, требуется совсем иная сила. Так же, чтобы потревожить устои местных жителей и изменить их вековые традиции и культуру, нужно много больше. Много больше!

У меня возникла надежда, что, возможно, на центральных улицах мне удастся встретить кого-то, кто согласится подвезти меня хотя бы до нашего райцентра, а оттуда я уж как-нибудь добрался бы до села. С такими мыслями я пошёл дальше.

Я помнил, что недалеко от вокзала ещё до войны располагался галантерейный магазин, которым заведовал старый тат. Он был другом моего отца, да и я неплохо знал его, когда был ещё подростком. Если он и сейчас на месте, я бы мог купить в магазине подарки для матери и сестёр.

После того, как я попал в плен, прошло уже почти четыре года. Четыре долгих года войны и ещё несколько месяцев мира без вестей от меня и надежд на то, что я жив.

Бойцам на фронте платили по 50 рублей в месяц на руки. Когда я это довольствие получал, я, как и многие другие, посылал деньги домой. Это была небольшая поддержка и заодно весточка для матери, что я жив. Деньги тех, кто сражался на передовой, отправляли по указанному ими адресу сразу напрямую к родственникам. Тех же, кто был пленён в бою, считали убитыми.

И я был почти уверен, что и дома меня считали погибшим. Но вот теперь, когда осталось так мало, когда я почти на подступах к родительскому дому, уже на родной земле, мне как никогда хотелось сократить время этой тяжёлой разлуки. Хотелось скорее переступить через порог хорошо знакомого, старого, но уютного и любимого жилища. Обнять мать, затем сестёр. Рассказать им о том, что мне выпало в разлуке с ними, и расспросить обо всём, что пережили они без меня. Чтобы стереть все белые пятна разлуки и вновь объединить наши судьбы воедино. Но прежде всего, конечно, мне бы хотелось побывать на сельском кладбище. Посетить могилу отца.

По пути я уже много раз думал об этом и никак не мог смириться с расстоянием, разделяющим меня с моими желаниями. И ещё это чувство тревоги, словно зловеющий паук, сидело в моём сердце и оттого больше угнетало меня, что я и не знал, с чем связать его.

Свернув на улицу, где, по моей памяти, должен был располагаться знакомый магазин, я обнаружил на его месте только закрытые двери. Контора была заперта, перегорожена засовом, на котором висел большой амбарный замок, который давно никто не отпирал. Да, теперь изменения в городе стали для меня более очевидны.

В отчаянии я пошёл дальше по улице, рассматривая улицы и вспоминая их дома и расположение.

Морской ветер всегда был здесь полноправным хозяином. За то время, что я прожил в Махачкале, мне не вспомнить ни одного дня, чтобы он не дул. Мы давно с ним не ладим. Я помню, как часто этот проказник вырывал у меня из рук листы бумаги, на которых я пытался изобразить понравившийся мне пейзаж, и поднимал их в воздух, точно высмеивая мои робкие попытки. Но теперь он совсем по-дружески трепал мои непослушные волосы, словно перебирая их и удивляясь ранней седине.

Вокруг было спокойно и тихо. Вдоль узких тротуаров стояли небольшие, в один, редко в два этажа домишки.

В довоенные годы почти половина всего городского населения были русские. Приезжавшие на время по распределению и на заработки, они оставались здесь навсегда, строили и обживали себе дома, привычные для их уклада. Низкие окна, где-то сохранились даже ставни. С подоконников почти везде выглядывали на улицу пышные комнатные растения. В одном из окон, между деревянными рамами, пригревшись на солнышке, спал огромный пушистый кот, растянувшись откормленной тушей во всю ширину окна.

Мне встречались незнакомые люди. Они проходили, с интересом оглядывая меня и мой костюм. Хотя для меня самого то, как я выглядел, тогда было совершенно неважно. После всех мытарств и передраг, что я пережил, на такие мелочи, как одежда, перестаёшь обращать внимание. Мне довольно было одеться кое-как, и удача, если по погоде.

На ногах были сапоги, доставшиеся мне после недельной носки от одного пленного англичанина. Они, уж не знаю как, но всё же, наконец, притёрлись ко мне и последние три дня почти не доставляли неудобства теснотой своего носка. Я успел их даже полюбить. Они были хорошие, добротные, из мягкой, качественной кожи. Приняв форму моей ступни, сапоги из 45-го выросли как минимум на один размер и растянулись вширь, конечно, не без ущерба для их внешнего вида.

На острых, как угол равнобедренного треугольника, плечах болтался просторный тёмно-синий французский военный китель, который я носил нараспашку, даже не из-за градуса тепла, а оттого, что так он мог казаться мне впору. Китель тоже, конечно, весьма потрепался со мною по дорогам, но выглядел весьма интересно и держался гордо, как истинный француз. Брюки-галифе цвета хаки с лампасами были совершенно советские.

Таким образом, весь наряд в целом выдавал во мне военного, но какого-то непонятного полка и подразделения. За спиной моей болтался худой солдатский вещмешок.

Я шёл большими, размашистыми шагами, высокий, худой, с полуседыми волосами и своим видом не мог быть незаметен окружающим.

День развернулся невыносимо жаркий. Я, признаюсь, и забыл, какая страшная жара стоит в городе, когда солнце поднимается к зениту. Пот тёк ручьями со лба, по всему телу. Вскоре ноги разбухли и отяжелели.

Я вышел на центральную улицу, тогда она называлась Комсомольская, и сел там на скамейку в тени, чтобы немного передохнуть.

Снять эти проклятые сапоги – мысль, которая возникала у меня всё чаще, но осуществить её уже не было никакой возможности. Мне было неловко. Этот город был мне хорошим знакомым, но всё же не родным. Хорош же я буду посреди центрального городского проспекта с босыми, вспотевшими ногами. Носков у меня не было, и к тому же я рисковал при таком положении не влезть в свои сапоги обратно. Других не было. Пришлось терпеть.

С обувью, надо признаться, у меня всегда были проблемы. В придачу к своему высокому росту я, ещё будучи юношей, получил и большой размер ноги с необычно высоким подъёмом. От моих долгих пеших прогулок ступни быстро отекали. Сначала я ещё помещался в старую отцовскую обувь, а для выхода имел одну свою пару, но уже вскоре перерос и ту, и другую.

К счастью, наш сосед в Буйнакске был неплохой сапожник. Он и согласился выточить индивидуальную колодку по моей ноге и сшить специальную пару. Мне позволили для этого дела выбрать лучшую кожу на свой вкус.

По-видимому, работа оказалась довольно хлопотная. Я ждал заказа больше трёх недель. В нетерпении мне уже начало казаться, что ничего не выйдет и мне придётся всю жизнь проходить либо в тапочках, либо с мозолями.

Наконец, я получил обновку. Как же горд я был за свой вид, точно впервые почувствовал себя человеком важным и взрослым. Туфли отлично мне подходили, и я отчаянно их берёг. А на будущий год вырос и из них.

Народу в жаркий рабочий день было не так много. Просидев в тени чуть менее получаса, я решил в конце концов, что никого не обижу, если лягу на скамейку, выдвинув подошвы за её пределы.

Ступни казались мне свинцовыми и от отёка совсем потеряли чувствительность. Я положил под ноги свой мешок, чтобы лучше оттекала кровь, и прилёг на лавочку, слегка запрокинув голову, которая была так же тяжела от нахлынувших воспоминаний.

Я вспоминал о моей беззаботной ученической жизни в Махачкале, о молодости, о родном селе, о матери и сёстрах. Представлял, как же они удивятся, когда я явлюсь к ним живой.

Наверное, первой, ещё на дороге, меня увидит Шахри, которая обыкновенно сидит у окна в своей комнате за чтением или занятиями.

Она тут же отбросит все книжки и, взволнованная, побежит вниз, чтобы сообщить сестре и матери радостную новость. Она почти кричит им о том, что видела меня из окна, но они ей не верят. Мать и Муи на кухне готовят обед, и радостная Шахри, у которой, кажется, вот-вот сердце из груди выпрыгнет, внушает им беспокойство. А сестра и на месте устоять не может, и злится, что ей не верят.

И вот она распахивает дверь, выбегает к воротам, открывает их нараспашку, готовая выйти мне навстречу.

Вот он я, стою прямо перед ней. Живой и какой есть. Шахри кидается мне на шею с объятиями и уже не может сдержать ни слёз, ни криков радости. В ту же минуту ко мне подбегают мать и сестра.

Ну, тут уж будет столько счастья, что и думать заранее пустое. Всё равно не вообразишь! И одна только эта минута сможет искупить всё горе и все переживания, выпавшие на нашу долю. Только бы дождаться этой самой минуты!

Предавшись размышлениям о долгожданной встрече, я не заметил, как погрузился в лёгкую полудрёму. Такое случалось со мной тогда часто. После всего, что я пережил, сон в любое удобное для меня время суток казался особенно сладок и приятен. В поезде я никак не мог выспаться.

Плацкартный вагон был не подходящее для сна место. Постоянно что-то мешает. То стук колёс казался мне громом отбойного молотка, то я вздрагивал оттого, что меня, лежащего на боковушке, постоянно задевали проходящие пассажиры. Бывало, чуть-чуть забудешься, так снова кто-то кричит через весь вагон. А потом станция. И машинист тормозит с такой радостью, что чуть с полки не падаешь. Никогда не было мне покоя. И гробовая тишина, которая воцарялась в поезде на сущие минуты, на фоне общего шума, треска, стуков и криков внушала только большее беспокойство. С ужасом я просыпался от этой тишины и прислушивался. Мне казалось, что в следующую секунду непременно нужно ожидать нападения из засады, атаки немцев, команды «воздух» или боевой тревоги.

Вы замечали когда-нибудь, что, просыпаясь среди ночи от сильного шума, вы просыпаетесь чуть раньше, чем этот звук вас настигнет. То есть вас будит не сам шум, вы теряете сон от его неминуемого приближения.

Лёжа в этот миг на полке, я уже не озирался и не оглядывался, понимая, что все мои опасения – бред, но от бессмыслицы только сильнее съёживался и плотнее закрывал глаза. Я засыпал и падал в кошмар.

– Парук! Парук! – тревожно прозвучал у меня в голове знакомый голос. Я почувствовал, что кто-то резко теревит меня за плечо.

– Парук! Парук! – повторил тот же голос, но уже с надрывом.

Я открыл глаза и увидел прямо над своим лицом лицо старшей сестры. Она стояла, словно сон, в белом шёлковом платке с бахромой и, держа руку на моём плече, продолжала трепать его. С лица никак не сходила тревога.

– Хадижат, это ты? – спросил я по-аварски.

– Парук, ты живой! – воскликнула она, будто с испугом.

Я вскочил со скамьи и хотел было обнять её от радости, но замялся. Меня охватила внезапная неловкость, и я просто встал рядом, молча улыбаясь, как в немом кино.

На Кавказе всегда безоговорочно главенствовало чувство глубокого уважения к старшим. Дети уважали родителей, беспрекословно следовали их наказам. Чтили старых родственников и заботились о них. Невежливо было даже сидеть в присутствии старших, встречать во взрослые разговоры, а перечить вообще никто не решался. Можно было только молчать и слушать, и то с разрешения.

На улице я не смел подать руки своей матери. Это сочли бы за оскорбление, за непочтение к ней. Так же, как и она не могла никак выразить мне своё внимание и любовь прилюдно.

Почти сразу после окончания школы моя сестра Хадижат вышла замуж и в конце лета уехала с мужем в Москву для поступления в вуз. Вернулась она только зимой. Совсем другая.

Дороги в горах были завалены снегом, и я проводил каникулы в городе, частенько гостя у неё.

Теперь сестра одевалась по-московски. Ходила в берете, модном пальто, перчатках, сапожки у неё были на каблуках.

По тем временам никто такое не мог себе позволить. Голодное было время. Мы, студенты, одевались из рук вон плохо.

Кто-то из учащихся техникума увидел меня с сестрой в городе. Пошёл слух, что я – буржуй. В общежитии мне устроили тёмную. Тузили крепко. Я бился за сестру. Нельзя было позволить им так о ней думать, но силы были неравны. Мне тогда сильно досталось. А на следующий день секретарь нашей комсомольской ячейки поставил перед директором вопрос о моём исключении. Пришлось созывать целый совет, который установил моё право учиться в техникуме.

Теперь, когда моя старшая сестра стала женщиной, я должен был относиться к ней подобающе, чтобы ни словом своим, ни поступком, ни обращением к ней не уронить её достоинства и статуса. Так было заведено издревле.

Какое-то время мы оба молчали. Хадижат сама словно не могла поверить, что видит здесь, перед собой, меня. Я смотрел в её глаза и видел себя в отражениях. И их заполняли слёзы.

– Ты живой, а мы все думали, что тебя убили.

Голос её подвёл. Я сам чуть не поддался. Сестра кинулась мне на шею и крепко прижалась.

– Нет, я живой, – зачем-то подтвердил я.

Хадижат обнимала меня за плечи с такой неистовой силой, что мне казалось, вот-вот она оторвёт меня от земли.

– Как ты узнала, что я здесь? – задал я вопрос, теперь заметив на ней домашнее платье с короткими рукавами, что считалось достаточно смело у нас в селе. На ногах тапочки по теперешней моде.

– Подруга сказала, Патимат. Ты её помнишь?

– Как не помнить! – ответил я. – В разведку надо эту Патимат, чтобы её талант в дело пошёл.

Когда сестра выпустила меня из своих горячих объятий, я заметил, что мы оба уже улыбаемся.

– Пойдём домой, Парук, отдохнёшь у нас, расскажешь всё, как было. Я тебя накормлю. Ты ведь устал с дороги, голодный. Посмотри, как похудел! Ты ведь никогда таким худым не был!

– Не надо, Хадижат, – замялся я, – лучше не надо.

Я чувствовал себя неловко за своё долгое отсутствие без вестей, за неожиданное появление теперь и в такой одежде, словно бедный родственник. Оправдываясь, я добавил:

– Я ведь хотел сперва к матери заехать. Повидать её. Скажи, как она?

– Парук, брось эти глупости! – сдвинув брови, строго сказала сестра. – Я что, сумасшедшая, чтобы тебя вот так оставить? Успеешь! Теперь всё успеешь! И к матери заедешь, и я, может, тоже вместе с тобой поеду. А пока пойдём к нам.

Поддавшись уговорам, я принял приглашение. Взял свой мешок, Хадижат взяла меня под руку, и мы пошли по широкому солнечному проспекту Махачкалы.

Идя подле неё, я слушал новости о её семье, о новшествах в послевоенной жизни, старался расспрашивать о маме. Сестра отвечала неохотно, была немногословна и старалась перебить меня вопросами.

Ещё тогда мне показалось, что дома что-то неладно. Я подумал, что мать, скорее всего, серьёзно больна, ведь её здоровье и раньше не было крепким, но услышать то, о чём мне предстояло узнать немного позже, я никак не ожидал.

Сестра с мужем жили в квартире в небольшом трёхэтажном доме, подъездом выходящим на центральную площадь города. Это было недалеко.

Пока мы шли, я во все глаза смотрел на Хадижат и всё никак не мог наглядеться. В моей памяти сестра осталась молодой девушкой. Всегда весёлая, с породистой, гордой осанкой, круглолицая, с хорошим румянцем и чёрной шёлковой косой по пояс, толщиной в три пальца.

За годы нашей разлуки она похорошела и того более. Моя сестра стала настоящей женщиной. Холёной, уверенной в себе и по-особенному, по-женски, мудрой.

Я заметил, что она несколько поправилась, хотя ей не слишком это вредило. Скорее, полнота придавала ей какую-то основательность, степенность и плавность всем её движениям. Ей сопутствовало чувство устоявшегося, уютного, сытного и налаженного быта. Румянец так же рдел на её щеках, но тяжёлая, густая коса уже была уложена в огромный узел на затылке.

Держалась Хадижат так же гордо. Была весела и не скрывала искренней радости от нашей встречи, но всё-таки какая-то грусть во взгляде, в улыбке, в полуобороте лёгкой тенью лежала на её челе. Тогда я всё винил долгую разлуку и думал, что мне кажется.

Вскоре мы пришли. Поднялись на второй этаж. На звонок сестры нам открыли дверь.

Радушно на пороге меня встретила полноватая русская женщина в опрятном кухонном передничке с оборками.

– Здравствуйте, – протяжно произнесла она.

В её говоре сквозило что-то малоросское, так мне показалось, и не ошибочно. Я учтиво ответил ей.

– Поля, муж уже дома? – поинтересовалась сестра, проводив меня в просторный зал, посреди которого за большим круглым столом уже сидела её подруга Патимат.

Я поздоровался и с ней, едва кивнув головой. Она уставилась на меня, как на видение, ничего не произнесла в ответ.

– Ещё не пришёл. Обещал ведь быть к обеду, так, стало быть, скоро будет.

– Мы не будем его ждать. Неси на стол первое, – велела Хадижат, а затем обратилась ко мне: – Ты сначала поешь. У нас сегодня на обед хинкал. А когда придёт Абдурахман, ты всё нам расскажешь. Где ты был, что с тобою случилось...

– Хадижат, извини меня, пожалуйста, я не буду хинкал, – тихо произнёс я, стараясь не показать в своём отказе ничего обидного.

– Парук, прекрати это! Ты же меня обижаешь. Как можно не хотеть хинкал! Горячий бараний бульон, домашняя колбаса! Ты, наверное, уже и забыл, как это вкусно! – произнесла она это с большим ударением на последнем слове.

– Хадижат, я не могу сейчас есть это. Мне нельзя. У меня желудок больной. Ты свари мне, пожалуйста кашу, если можно. Кашу я буду.

– Кашу? – удивилась сестра, но вскоре с пониманием согласилась. – Хорошо. Будет тебе каша. Овсяная подойдёт?

– Подойдёт.

Сестра удалилась, видимо, только для того, чтобы распорядиться на кухне, и вернулась совсем скоро.

Тем временем я присел за стол и от неловкости ещё раз почтительно кивнул Патимат. Всё это время она рассматривала меня пристально в оба глаза, и на лице её была то ли усмешка, то ли сочувствие или, может, ещё что-то, чего я не разобрал и не понял.

Наконец, Хадижат села между нами, сообщив, что «сейчас всё будет, надо только немного подождать».

– Сколько у вас слуг, Хадижат? – поинтересовался я.

– Парук, какие слуги! Это женщина, Поля, работает у нас. Мы приняли её совсем недавно. Это по настоянию Абдурахмана. Мне теперь стало трудно со всем управляться. Я уже на четвёртом месяце. Мы ждём ребёнка. Поля будет ему и нянькой.

– Поздравляю, я рад за вас! Это хорошая новость.

– Не торопись с поздравлениями, Парук, лучше расскажи мне, как ты? Где же ты был всё это время?

Я уже набрал воздух в лёгкие, чтобы начать, но сестра снова меня перебила...

– Знаешь, ты прости нас. Мы виноваты перед тобой. Мы ведь думали, что тебя убили на войне. Мулла читал на твоё имя молитву. О! Если бы мы только знали тогда! Одно письмо, хоть бы одно письмо дошло бы до нас от тебя! – И тут она принялась почти рыдать, уже закрыв руками лицо.

– Брось, сестра. Что, неужели не наплакалась за всё это время? Тебе ведь теперь нельзя. Вы ни в чём не виноваты. И думать такое забудь. Если кто и виноват, так это я сам...

В это мгновение меня прервал звук дверного звонка. Поля, шаркая домашними тапочками, поторопилась к двери, наспех обтирая в коридоре руки о передник.

– Абдурахман Даниялович, давайте-ка мне свой портфель, сегодня у нас к обеду какой-то важный гость, – поспешила доложить она, суетясь в коридоре.

Хадижат тут же вскочила из-за стола. Лицо её преобразилось. Теперь оно сияло.

Выйдя в коридор навстречу мужу, она шёпотом, но всё же мне было слышно, сказала:

– Парук вернулся.

На какой-то миг всё в коридоре будто замерло. Я расслышал тиканье напольных часов в зале.

Через мгновение в дверях зала появился Абдурахман.

Не слишком высокий, скорее, среднего роста, коренастый, с крупными и приятными чертами лица, он был в строгом пиджачном костюме, и на лице его просияла сдержанная улыбка, которая, однако, не могла скрыть всё удивление.

Я встал с места и шагнул навстречу. Он тут же подошёл и крепко пожал мне руку.

Несмотря на рост, его рука была довольно крупной. Пожатие было сильное, волевое и крепкое. Абдурахман смотрел на меня с добротой и радушием. Я не мог не разогнать свою грусть и не улыбнуться в ответ. Моя улыбка была улыбкой благодарности. Я был растроган до слёз. Я принят, меня ждали.

Каким-то непонятным образом после появления Абдурахмана всех нас охватило какое-то оживление, веселье и чувство праздника. Было полное ощущение того, что я вернулся, наконец, окончательно и явно только с его появлением в доме.

Хадижат оказалась крайне правильной мужней женой, и меня даже разбирала беспричинная гордость по этому поводу. Она теперь напоминала мне нашу мать.

Уже десять минут спустя мы все за круглым столом, убранном со вкусом, с хрусталём, столовым серебром, тончайшим фарфором и кружевом праздничной скатерти, весело обсуждали перспективы нашей новой жизни, жизни после войны. Жизни в стране победителей! В стране, которая осталась нам, которую сохранили мы вместе.

Мне рассказывали забавные истории, те самые, которые обычно рассказывают за праздничным столом каждый раз, когда за ним оказывается новый гость. Я не сдерживал смех и, казалось, веселился так впервые за все эти годы.

К столу, в большой сервизной супнице, Поля подала обещанный хинкал. С круглыми, золотистыми островками на поверхности наваристого бульона, с чесночком, воздушным, пышным тестом, с заправкой, поданной в сотейнике с золотым ободочком, с щедрыми кусками нарезанного мяса, с налипшим на его бочках жиром, с курдюком на отдельной плоскодонной тарелке, присыпанным зеленью, в общем, всё, как следует по правилам. Я же неторопливо жевал свою овсяную кашу на постном масле. Даже её вкус, приготовленной дома с заботой и специально для меня, показался мне совершенно особенным.

Потом пустые тарелки унесли, посуду сменили и подали чай. Заварочный чайник принесла с кухни сама Хадижат. За этим действием её лицо приобрело прежнюю серьёзность и печаль.

Я заметил, что тревога вернулась и ко мне. Вновь я спросил о матери и сёстрах.

Все участники чаепития вмиг обрели единые удручённые, монументальные выражения лиц, такие, что, спроси я о чуме, тифе, холере или повальном море, их лица должны были бы выражать что-то похожее. Всё это взволновало меня не на шутку.

– Хадижат, что-то случилось? – спросил я ещё раз, обратившись к сестре, глядя ей прямо в глаза. – Мать больна? Скажи, что с ней?

Сестра сдвинула брови и отвечала, наконец, положив свою тёплую ладонь на мою руку:

– Не с ней, Парук.

Тут уж я совсем растерялся. И без того я был весьма вспыльчив, а военные действия и плен, естественно, не прибавили моим нервам крепости. Ещё секунда – и я бы взорвался, потеряв контроль над собой от всех этих умалчиваний, переглядок, недомолвок и намёков. Тревога меня душила и мучила, подбираясь к самой глотке.

Мать – это было всё для меня.

В голове в одну секунду пролетела одна древняя горская мудрость, которой старики учили нас в детстве. Правовой мусульманин должен совершать намаз пять раз в день. Для этого есть строго определённое время и свои обычаи. Каждый раз, услышав призыв муллы с минарета мечети, мусульманин расстилает свой молитвенный коврик, набирает в таз чистой родниковой воды, совершает омовение и читает молитвы, обращённые к Богу. Ничто не может отвлечь правоверного мусульманина во время совершения намаза. Ни землетрясение, ни наводнение, ни горный обвал, ни молния, попавшая в саклю мусульманина не может прервать его. Но, если его позовёт мать, говорил старик, он должен прерваться и идти к матери.

– Парук, ты не волнуйся, – произнесла сестра, хорошо знавшая мой характер.

Тут вступил Абдурахман.

– Парук, – начал он, тяжело вздохнув, серьёзным и внятным голосом, – 15 мая этого года твоя сестра Муминат трагически погибла.

Последовала короткая пауза, и сразу за ней, в упор, второй удар:

– 26 июня, вскоре за ней, твоя сестра Шахри умерла в селе после недолгой, но тяжёлой болезни.

Целую минуту все сидели, как недвижимые фигуры. Тишину прорезал тончайший вопль: сестра достала из кармана платок и принялась жалобно плакать. Сквозь слёзы она всё глядела на меня. Я не двинулся.

Взяв ладонь Хадижат в свою, подруга принялась утешать её, но вскоре сама взревела ещё пуще. Абдурахман всё так же сидел неподвижно и сочувственно смотрел на меня. Я опустил глаза, и в душе моей некоторое время творилось что-то несообразное.

Я не мог в это поверить. Не мог понять, что они говорят мне. Я не понимал. Зачем они несут эту страшную нелепицу? Я всё хотел, чтобы они объяснили мне, что случилось, но теперь отдал бы всё, чтобы эти жестокие слова вложить обратно им в горло.

– Как это случилось? – наконец, спросил я. Слова словно резали горло.

Мне отвечал Абдурахман:

– Муи застрелилась. Это случилось здесь, Парук, в этой квартире. В кабинете, у письменного стола. Мы не знаем, почему она так поступила. Возможно, это произошло случайно. – Он взял небольшую паузу, чтобы перевести дух, и продолжил уже немного скорее: – Шахри сгорела буквально за несколько месяцев. Болезнь была очень сильна – сахарный диабет. Она не могла бороться. Последним ударом стала для неё весть о смерти Муи. – Предупреждая моё беспокойство, он добавил: – Мать твоя была совсем разбита от горя. Болела. Отказывалась от пищи и оттого оказалась чрезвычайно слаба. Всё дало осложнение на глаза и, конечно, на её сердце. Переехать к нам она решительно отказалась. Совсем недавно Хадижат вернулась от неё. Теперь ей уже многим лучше. Она в вашем старом доме. У неё есть всё необходимое.

– Мы ведь думали, Парук, что и тебя потеряли, – всхлипывая, добавила сестра. Я переключил взгляд на неё и тихо, но решительно произнёс:

– Мне нужно видеть мать. Немедля.

– Парук, с этим проблем не будет. Сейчас же спускаемся вниз, у подъезда меня ждёт водитель на служебной машине. Я предупрежу его обо всём, он довезёт тебя до дома. И, пожалуйста, не отказывайся. Дорога займёт всего четыре часа, не больше. Так как раз будет быстрее всего.

Не медля более ни секунды, я встал из-за стола и, ещё не вполне понимая, что я должен делать, ни с кем не простившись, вышел в коридор. Там последовавшая за мной сестра, утирая слёзы платочком, подала мне мои вещи и обняла, горячо и крепко. Уже на лестнице меня догнал Абдурахман.

Наша семья была привычна к потерям. Мама за свою жизнь рожала одиннадцать раз, но из всех суждено было подняться на ноги только четверым. Остальные дети были слабые и умирали от различных болезней, вирусных инфекций и простуд, не пережив и свой первый год. Даже отец, учёный, практикующий врач, заведующий больницей, ничего не мог с этим сделать.

Любая смерть была трагедией для родителей, но вскоре проходило и это горе. Жизнь продолжалась и наполнялась своими заботами. Так было у всех и со всеми.

Мама говорила мне, что здесь, в горах, люди немного ближе к Богу, и когда ему нужен какой-нибудь помощник для его добрых дел, то в первую очередь он посмотрит его здесь, чем где-либо.

Я ехал по обходным, узким горным дорогам на служебной машине с водителем Абдурахмана за рулём. Не думаю, что он знал, кто я, и тем более он не знал ничего о моей судьбе и о том горе, которое открылось мне только что. Но, видимо, сам, по своему характеру являясь человеком аккуратным и культурным, он ни о чём меня не спрашивал, заметив горькие переживания по моему лицу.

Мы ехали молча. Я сидел на переднем сиденье и смотрел в окно на пейзажи, которые, сменяя один другого, должны были казаться мне если не родными, то хотя бы знакомыми, однако таковыми не являлись. Я и сам от себя не ожидал такого отчуждения.

В отдалении, думая о родном крае, я вспоминал каждый уголок, любимый мною с детства, но это было совсем не то, что я видел сейчас. Как же жестоко далёк был я от правды! Как безвозвратно ушло то счастливое время! Как больно мне было осознавать это теперь. Всё, что я сейчас видел, безучастно провожая глазами, всё было не то. Сколько опустошённых, разграбленных, сожжённых и разрушенных сёл наблюдал я на фронте. Здесь война ничего не тронула, и смерть не побывала в этих краях. Местные жители сами ехали к ней, оставляя родные места.

Но всё вокруг казалось мне пустым больше, чем было пусто. Голым более, чем было обнажено. Тоскливым намного сильнее, чем на самом деле, и чужим, бесконечно чужим.

Тот же дом, порог, те же резные деревянные двери в высоких воротах. Они открыты, как всегда, от кого здесь было запирались?

Водитель спросил меня разрешения подождать его, но ехать дальше мне было некуда. Всё, это был конец моего пути. Слишком много дорог вело меня все эти годы из родного дома и обратно к нему. Я решил, что теперь непременно останусь с матерью. Это мой долг, а значит, и моя судьба.

Испустив столб выхлопных газов, машина с рёвом повернула и поехала обратно. Я проводил её взглядом, пока она, превратившись в игрушку и слегка колыхаясь сквозь поднимающиеся вверх потоки горячего воздуха, исчезла за первым поворотом.

Солнце пекло. На узеньких, извилистых дорогах истоптанной пыли не было ни души.

Обычно в такое время женщины, не занятые на полевых колхозных работах, сидят дома. Они стряпают еду на кухне, шьют или чинят одежду. Хлопочут с заготовками, сушат урюк и изюм, раскладывая его на плоских крышах домов и во дворах, сушат горные травы: чабрец, анис или мяту. Просеивают муку, перебирают и чешут овечью шерсть, вяжут из неё джурабы на зиму и занимаются всем тем, что делает родной дом тёплым, уютным и любимым для нас, как ни один иной.

Я долго ещё вглядывался в пустую дорогу, на которой медленно и тяжело оседала густая пыль, поднятая колёсами автомобиля.

Я был опустошён. Как отходник после долгих, тяжких работ, потеряв здоровье, забыв удобства быта и тепло родного очага, истрепав и убив все чувства человека, наживший себе скудных благ на старость и, скоротавши последнюю ночь перед возвращением, обнаруживший вдруг черепки вместо монет. Я ощущал осиротелость в своей душе. Я не понимал, почему после того, что произошло со мною, когда в эти долгие четыре года, во время войны, под немецкими пулями, в голод и мор, в промозглый холод, истязаемый и больной я мог умереть каждый час, Создатель всё же предпочёл взять жизни моих родных сестёр здесь, в спокойном мире, но не мою жизнь. Может быть, это оттого, что я не был в горах. Я не был достаточно близок к Немцу.

Я поднял глаза и взглянул на дом. И тут в окне второго этажа, смотрящего на дорогу, окне родительской спальни, я увидел свою мать. Это было всего мгновение. Я успел лишь заметить её смутный облик за стеклом, фигуру в большом траурном платке, накрывавшем голову и плечи, не уловив в точности черты её лица. Ошутив странный, нелепый испуг и растерянность, я метнулся к забору так, будто скрылся от её взгляда.

Немного постояв там, я оттолкнул калитку в воротах и вошёл во двор. Вновь я поднял взгляд на то окно. Теперь оно было пусто.

Войдя в дом, я сразу кинулся наверх, понимая, что не могу больше ни на секунду оставить её там одну.

Вдоль коридора с парой дверей по обеим сторонам только одна дверь была слегка приоткрыта. Нерешительно толкнув её, я заглянул внутрь комнаты и увидел там мать, недвижно сидящую на своей старинной деревянной кровати с резьбой.

Она смотрела в сторону двери, но не на меня.

Сам её взгляд показался мне странным. В глазах не было больше чего-то такого, неповторимого, благодаря чему я мог бы узнать мамины глаза из тысячи других женских глаз. Теперь они были холодные и мокрые, как оконное стекло во время дождя.

– Мама, – произнёс я так, что единое это слово вырвалось у меня из горла острым кинжалом, окончательно порезав всё там изнутри. Но она не двигалась и была так же безмолвна.

– Парук, зачем ты пришёл? Ты пришёл за мной? – спустя несколько мгновений спросила она на аварском с застывшим страхом на лице.

Чувствуя неудержимый душевный порыв, я стремительно, всего в два больших своих шага, приблизился к ней, переступив порог родительской комнаты впервые за всю свою жизнь.

Я кинулся ей в ноги. Я обнял её руки, которые лежали на коленях и, ощутив в них нечеловеческий холод, тут же принялся тереть их, словно отогревая от мороза.

– Я пришёл к тебе. Я пришёл, чтобы остаться с тобой, – поспешил заверить её я. – Я живой! Мама, ты слышишь меня, я живой!

– Парук, – вздохнула мать, и глаза её исторгли слёзы.

Все мои чувства были на пределе боли, на пике излома, на волоске от разрыва сердца и аорты. Мне казалось, что они вот-вот вырвутся из груди, разломав изнутри мои рёбра, и прильнут к маминым коленям. Сердце билось нестерпимо больно.

Она вынула руки и судорожно принялась трогать мою голову, ощупывая моё лицо, трепля волосы и глядя по щетинистым щекам. Я бегал своим взглядом по её лицу и ничего не мог понять. Мой разум отказывал мне в вере.

– Мама, ты не видишь меня? – с ужасом спросил я, глядя ей прямо в пустые, безучастные очи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.